

84PG
M55

А. МЕХОНЦЕВ

ВСЁ ПЕРЕЖИЛИ





В новой книге Алексея Андреевича Мехонцева «Всё пережили» с собственным оформлением повествуется о жизни в зауральской деревне, начиная с 1914 года.

Через бытовые емкие образы, через колоритный исетский говор автор с любовью и сострадаием рассказывает и горестные и забавные истории из жизни наших бабушек и матерей, а также и наших с вами современников.

ПК

Э.К.
84Р6
М55
Алексей Андреевич
Мехонцев

ОФОРМЛЕНИЕ АВТОРА

ВСЁ ПЕРЕЖИЛИ

(Бабушкины сказы)

ДАРЬИН ПОКОС

(Повесть)

Рассказы

215346Ц



025

ББК 84Р7
М 55

Мехонцев А. А.

Всё пережили. — Шадринск, ПО "Исеть", 1996. — 186 с.

Автор сердечно благодарит всех тех, кто принял деятельное участие в подготовке и выпуске данной книги:

- Некозырева В. П.** — директора ШТПО «Исеть», сотрудников типографии.
Бритвина А. М. — начальника отдела культуры, председателя Шадринского движения за культурное возрождение.
Овсянникова Ю. Я. — редактора газеты «Шадринский курьер», сотрудников газеты.

Всех тех, кто оказался не безразличным к возрождению культуры шадринского края и чья финансовая помощь помогла увидеть свет этой книге:

Воротникова М. П., Бурундукова И. Н., Ефремова М. Г., Кокорина А. Г., Тяжелникова С. А., **Домрачева О. Н.**, Назурова А. Н., Чумака Р. Б., Якова О. В., Разбойникова В. В.

Огромное вам спасибо! И дай вам Бог удачи во всех ваших делах!

*Посвящаю самым дорогим в моей жизни
женщинам —*

моей маме — Задориной Анастасии Семеновне

моей жене — Мехонцевой Наталье Петровне

и светлой памяти моей бабушки — бабы Дуни —

Задориной Евдокии Федоровны.

...Останься тих, когда твое же слово
Калечит плут, чтоб уловлять глупцов,
Когда вся жизнь разрушена и снова
Ты должен все воссоздавать с основ.
Умей поставить в радостной надежде
На карту все, что накопил трудом.
Все потерять и нищим стать, как прежде,
И никогда не пожалеть о том.
Умей принудить сердце, нервы, тело
Тебе служить, когда в твоей груди
Все пусто, все сгорело
И только воля говорит — иди...

Джозеф Киплинг

2 1 5 3 4 6

ISBN 5-7142-0122-1

© Мехонцев А. А. 1996.

Родник, пробившийся из глубин народных

Новая книга нашего земляка Алексея Мехонцева названа не случайно «Все пережили». Первая часть книги — «Бабушкины сказы» пропущена через душу и сердце простой русской женщины — бабы Дуни. Автору удалось найти ту золотую середину, когда не злоупотребляя диалектом, он сумел передать неповторимый колорит простонародного языка. Каждый рассказ — это удивительная миниатюра, сочная, многокрасочная. Алексей Андреевич, выросший в деревне, прекрасно знает быт и живописует его, как художник. Описание деревенской страды или драматический процесс раскулачивания — все это будто картинки с натуры, живые, динамичные, вызывающие всю палитру чувств, от искреннего смеха до горьких слез. А есть такие пронзительно лирические зарисовки, что просто дух захватывает. Один из таких рассказов называется «Цветы вдовам»: «...и вышел опять в ночь, со свету и вовсе черную. Лишь подснежники в руках да россыпь звездной пыли вверху едва светятся в этой крошечной тьме. Будто это были живые души тех, не вернувшихся с войны солдат...»

Повесть «Дарьян покос» составляет вторую часть книги. Бабы доля — найдутся ли в мире еще такие женщины, как русские? Работящие и выносливые, словно двужилые, сострадательные и душевные, словно святые, а уж терпеливые — скажу нет! Одному Богу известно, сколько пришлось вытерпеть героине повести, доля которой оказалась еще горше — вдовей. Хотя и побывала замужем, да не любила суженого, душа к другому тянулась. Но упрятала Дарья свои чувства так глубоко в сердце, что огонь любви опалил душу изнутри, а чувства остались нерасплесканными до самой старости.

Повесть подкупает своей безыскусностью, чистотой и той жизненной силой, которая вливается в читателя, наде-ляя его мудростью народной: все переживем, надо лишь любить свой дом, свой край, тех, с кем живешь рядом.

Писателю А. Мехонцеву удалось через галерею деревенских образов высветить страницы истории нашей страны. Сегодня нам кажется, что кладезь души народной обмелел, засорился, замутился. Познакомившись с этим произведением, понимаешь, что пробивается из глубин народных родничок, который способен вырваться наружу, смыть наносную грязь и напоить измаявшихся людей чистой, живой водой.

О. П. Осипова.



ВСЁ ПЕРЕЖИЛИ

(Бабушкины сказы)



ПРОСВАТАЛИ

Как-то приехал в отпуск с Севера сын тетки Прасковьи — Виктор с женой Галей. Сидят за столом, выпивают.

— Со встречей! Со свиданием! — говорит т. Прасковья, и все поднимают стопки.

— Будьте здоровы!

Выпили, закусили. Галя тоже любит, как баба Дуня рассказывает про ранешнее время.

— Баба Дуня! — просит Галя. — Расскажи нам, как вы с дедом Семеном влюблялись.

Все улыбаются, предчувствуя, что бабушка расскажет что-нибудь интересное.

— Какое там влюблялись, — баба Дуня горько усмехнулась, перевела дух. — Меня четырнадцати годов отдали в стряпухи в город Омск. Я жила там у одного врача в прислугах. Хлеб им пекла, варила, стряпала.

И я вспоминаю. Действительно, баба Дуня пекла вкуснейшие калачики. Хлеб у неё всегда был мягкий, пышный да румяный. А дух расходился по избе неопишущий — такой вкусно-душистый, что лучше этого запаха, наверное, ничего нет на белом свете!

Я наблюдаю с полатей за бабушкой. Она поправит платок на голове, уберет заслонку, подгребет угли клюкой в загнетку. Отчего ее лицо так и озарится пламенем из печи. Она раскраснеется от жару, сама небольшая, а сноровистая. Тут и огромные чугуны с картошкой для скотины. И с другой снудью — для семьи: с супом ли, с кашей или с селянкой. Так и снует в ее руках ухват то в печь, то из печи. Или деревянная лопата с калачами да шаньгами.

Баба Дуня дальше продолжает рассказывать:

— Я в Омске-то на базар ходила за покупками. Меня горничная водила. Всяко место там продавали. Овощи и фрукты. Народу — не проберешься. Шум, гам. Мы наберем всего — картошки, мяса, луку, помидор, приправы, зелени всякой.

Раньше-то ведь не было ни машин, никого... Там только все извозчики на лошадях стояли. Если надо извозчика, кричишь: «Извозчик!» Он подъезжает. Ты сядешь. Он везет куды тебе надо. Я что есть ни разу в Омске-то не заблудилась. А Омск большой. Сейчас, наверное, не узнать его. Сколько годов прошло. Я в нем была в 1913 году. Там весы такие круглые были. Народ подходит. Их вешают за опояску. Кто сколько тянет. У нас был сват Артемий Килановский. Так он 9 пудов тянул. Сколько это? 16 кг в пуду-то. (144 кг? Неужели? — удивляюсь я. Ого!).

А вот Мити Новоселова отец часто гостил там. Только свата-то взвешали. Потом Макар-от сел. Он только три пуда вытянул (48 кг). Он осердился — мало показалось что-ли? А сват-от, покойная головушка, и говорит: «Ниче, ты все девять, все девять тянешь». А сам смеется. Вот придут бабы. Взвешиваются в воскресенье. Те года-те редко было весов-то. Охота взвешаться.

Я там, в Омске-то, какую-то интересную животину выгледела. Никогда такой не видывала — голова овечья, тулово вроде лошадиное, так опять с горбом. А ноги внизу-то — как у кошки лапы. Интересно как! Спрашиваю у горничной-то: «Чё это за животина такая?» А она уже знала. «Верблюды это», — отвечает. Вот я в Омске-то впервые и высмотрела верблюдов-то этих.

Мы внизу жили с горничной-то, на первом этаже, около кухни. Я варила, а она за столом у врача-то прислуживала, на втором этаже. Я стряпала им белый хлеб. А нам на еду-то давали черного хлеба. Неужели я, стряпуха, да не испеку себе булочку небольшую белого? Сидим, едим. А услышим, как наверху затопают, мы тотчас спрячем белый хлеб, едим черный.

Мне тогда еще восемнадцати годов еще не минуло. Дедушко Федор, мой тятенька, приезжает как-то и говорит: «Просватали мы тебя, Дуняша... Собирайся домой». «А за кого хоть просватали-то? — спрашиваю тятеньку.

«Да ты его хорошо знаешь, — отвечает. — За Семку».

Просватали, дак просватали. Поехали... В 1913 году это было. А через год, осенью-то, у нас Парасковья родилась. Первенец наш. Вот и все влюбленья...

И баба Дуня, повернув голову к Гале, покачала головой:

— Вот как раньше-то бывало...

Я Задорина, он Задорин. И фамилию не надо менять. Мне 17 лет было, ему 21. Обвенчались в церкви, все как положено в то время. Тятенька-то у нас очень набожный, служил в церкви. Грамотный очень был. У него много книжек было на старославянском, на церковном-то языке. Я смотрела у него картинки там, красиво нарисовано про бога-то.

ТЕЛЕГИ БРЯКАЮТ

Моя мама вспоминает:

Вечер. Солнышко село. Мы сидим за оградой, слушаем, как телеги брякают. Едут с поля. Отстрадавались. Думаем: «Вот наша телега бренчит. Это мама с тятьей возвращаются». Нет, не наша оказалась. Опять мимо проехали. Опять ждем...

Я-то водилась с маленькими, дома оставалась. А Парасковью они уже с собой на поле брали. Робить.

Не знаю, в каком это году было. Но одиночно еще жили. Дома. Тогда земли-то давали только на парней. У нас у тяти-то один Сережка был, а девок-то семеро. Мало земли-то. А как шибко тогда разбогатели, у кого мужиков-то много в семье-то было. Землю давали на мужиков.

Сейчас вон не берет никто землю-то, не хотят работать. Да и нечем... Перепродать начнут землю-то, если разрешат, да спекулировать, да наживаться на этом. Работать-то никто не хочет.

А тогда хорошие урожаи были. У нас тятя с мамой да с Прасковьей на всю семью заготавливали хлеба-то. И хватало до нового урожая. (Из недавней газеты — уже забирают землю обратно, кто ничего не выращивает).

Хлеб-от убирали осенью. Страдовали — так говорили раньше. По-нонешнему-то уборка или битва за урожай. Хлеб раным-рано скосят, а он лежит в валках-то. Его мочит да мочит. Он и прорастет весь, что никакой комбайн его не может отодрать-то. А тогда ведь все на конях робили. У нас у тяти всего одна лошадь была. Все убирали, ни зернышка на полосе-то не оставалось.

А нонче?... Весь хлеб на полосе. А потом возьмут да запашут и дело с

концом. Отстрадавались. Отчитались перед начальством. А перед самим-то собой кто будет отчитываться? Видимо, дядя из Канады. Раз у них покупаем зерно-то. Чей хлеб едим? Заграничный, американский. А сами, видимо, только вид делаем, что робим, что хлеб выращиваем.



Стыдобушка. А раньше-то как-то все на одной лошаденке убирали, и пахали и сеяли. Не было такой-то техники как сейчас... Голыми руками страдовали. — Как страдовали? Косили что ли? — спрашиваю я. — Я не знаю, я

не ездила на поле-то. Парасковья ездила, ее спроси. Тятя, наверное, косил, а мама снопы вязала. Парасковья подскребала за ними. Да еще какие-то жатки были. Самосброски.

Окромя страды у баб-то раньше много всякой другой работы было по дому-то. И корову накормить, напоить, да подоить. Да говяжи убрать, вывезти, когда тятя уйдет куда-нибудь зимой-то на заработки. Да лен трепать, чесать да теревить, да прясть.

«Кажі моты, кажі моты» — поет такая маленькая птичка. Хорошо весной-то, весело поет. В марте где-то. Как бы спрашивает: «Кажі моты, кажі моты!» То есть сколько направили пряжи за зиму-то.

Как-то бабушка, тятиня-то мать, и говорит ей: «Че же это ты, Дуня, не прядешь? Вон у тебя сколько робят-то. Че носить-то будете? А она отвечает: «Не могу я, устаралась больно. Отдохну, лягу». Ну че же она, — продолжает мама, — на поле-то базгається, да базгається. Они с тятей вдвоем работали. Потом хоть Парасковья стала помогать, подросла дак.

А тятя у нас здорово работающий был, да и проворный. И всех по себе равнял. Никогда меня раньше не отпускал с сенокосу. А я на конном дежурила. Прибегу домой — некогда поесть, надо на смену бежать, меня уж там заждались конноха-то. Всех по себе равнял. Но он же мужик. Где нам, бабешкам, за ним угнаться. Что есть никому никакого отдыха не давал. До самого поздна заставлял работать. А маме-то надо грудного ребенка кормить. Она каждый год рожала. Но до самых родов работала и после родов сразу начинала опять работать.

Вот она прибежит домой, накормит ребенка и давай всю домашнюю работу проворачивать. Скотину поить, кормить, да доить. Воды из колодца таскать. Да ужин варить. Да квашню ставить. Да лен прибирать — мять да чесать. Вот она за день-то и ухайдакается так, что еле до кровати доползет. Она у нас худенькая да маленькая была, где уж ей еще за пряжу садиться, глаза слипаются и сил нет. А утром опять надо раным-рано вставать. Все еще спят, а она уж отстряпалась, да сварила еды на целый день. Снова надо со скотиной управиться. Мужика да ребятишек накормить. А там опять в поле, если дело осенью. Страдовать надо, не ждали погоды-то. Надо хлеб убирать... Без хлеба-то не прожить... И не выжить... Вот так и бедовали... День за днем...

А я с ребятами водилась. Много их у нас было — Сережка, да Тася, да Нюра, да Шура, да Маня, да Валя... А сколько еще их поумирало маленькими-то. Эти-то все живые. А вот Сережку убили в эту войну уж. Он лейтенантом был. Маме деньги все приходили, пока он живой-то был. После уж деньги не стали приходить...



Рядом с нами богатые жили. Их потом раскулачили. Я видела, как их на телегу посадили и увезли... С собой ничего взять не разрешили. Мне их жалко было. У них в конюшне много лошадей было и всякого скота. Один жеребец был красивый да видный. Он не выложен был — производитель. Привяжут его к амбару, овса дадут. Он похрупывает — ест. Стоит переминается. По праздникам его запрягали и выезжали разминать. У меня подружка Надька была из этой семьи. Родители уедут на работу, а нас оставят водиться с ребятишками. Мы их накормим. А Надьке еще накажут — это сделай, то сделай. Огурцы полить, сметану снять с кринок, муки засеять. Я у них, бывало, оставалась с ночевой. Меня тоже за стол приглашали. У них большая семья была. Ели жареное. Капуста была насолена.

Потом их раскулачили. Отправили в Екатеринбург куда-то, в Нижний Тагил али в Верхний. Там сосны здоровенные росли. Надька мне письма присылала. Они там обжились да такие дома себе отгрохали. Потому что работающая семья-то была, и народу-то у них много. Все им под силу. Конечно, кто старые были, те поумирали там. Молодые-то так и остались там жить. И сейчас, наверное, живут...

...Вот мы с Надькой полем огурцы. У них колодец был прямо в пригоне, в выгульном-то, где лошади жили, коровы и овечки. Но вода хорошая была. Колодец-то глубокий. Мы набросаем в него огурцов, а потом ловим их бадьей-то.

Всю работу сробим, что накажут родители. Малым робятам сопли вытрем и айда с парнями воробьев зорить. Дома-то надоест сидеть. Вот и салазганим где-нибудь. Набегаемся, но потом спохватимся к вечеру-то — домой надо бежать. Прибежим — робятишки все обмарались, ревут. Мы отмоем их, накормим, выйдем за ограду.

Уже темнаться начнет. Сидим, ждем родителей. Слушаем, как телеги брякают.

— Вот наша телега.

— Нет, не наша оказалась.

Опять ждем.

БУТЫЛКА ВОДКИ, ДА ЛУКУ ВЕДРО

— Не знаю, что и рассказать вам, — говорит бабушка Дуня.

— Ну, как раньше-то жили, — подсказываю ей! — До революции-то.

Но бабушка совсем плохо слышит и говорит: «Мне библиотекарша Ольга Петровна раньше все сказки притаскивала, дак я читала. Теперь не читаю, только картинки смотрю. Ково уж, старая стала, восемьдесят годов подходит. А глаза-то еще видят, без очков читаю. Недавно вон в численнике прочитала, что будет затмение луны, а потом солнца...»

И бабуся без всякого перехода, как будто о совсем недавнем, начала рассказывать:

— Сидим вечером, а лошадь идет подле окошки. Я говорю: «Ой, девки, знать-то отец приехал!» Застала лошадь в ограду, выпрягла, прибрала сбрую. Вот его нет, вот нет, куды девался? Побежала наперво к матери-то. Нету и там. Говорит, что не бывал. Я к Кузьме побежала — на другой улице живут — зять. Тоже нету. Ну, робята, где же он? А туда уж не пошла, с кем он уезжал. Потом утром встала, квашню примешала, айда к Кольше Филиппову. Я говорю: «Где вы оставили моего-то?» Тот отвечает: «Дак он угнал от нас. В Шалешках вот тут где-то понужнул лошадь-ту, а она как отвернет, он и угнал.»

Дак то ли лошадь-то с имя пришла, то ли одна? Так тут на телеге у него рогожа лежала, хлеба калачик остался.

Ну и вот пришла я к Кольше-то, а он и говорит: «Мы станем пить-то, дак я все отваливал у него. Он навалит бутылку-то, а я отваливаю, чтобы он не напился. А он напился... Ну и видно выпал где-то. Не знаю, как он к зароду-то попал. Ноги-ге, говорит, — замерзли. Взял натеребил сена-то да огнище сделал, да погрелся. А потом ноги-то затолкал в зарод-то, да лег. Ну ночь,

дак куда идти-то. Некуда. Ни дороги, никого. — Потом, — говорит, — слышу, петухи поют, встал, пошел, да пришел на хутора».

Вот сейчас, ета Мотя-то Черных Петина-то, дак ее-то отец жил там. Мой-то подходит без шапки, шапку потерял. А тот телегу мазал, увидел отца-то и говорит: «Че без шапки ходишь, рази с иконами недалеко?» А отец-то говорит: «Потерял шапку-то, да я и лошадь-ту потерял». «Ах, ты, сукин сын! Давай — говорит, — я сейчас телегу мажу так к вам поеду, туды в Лебяжье. Так увезу тебя». Дал ему шапку, привез его. Как он только заходит домой и говорит:

— А лошадь где?

Я говорю:

— Лошадь дома.

— А че в телеге было?

— Не знаю, че было у тебя. Только мешки, да ета рогожа тут, да хлеба калачик.

— А у меня была бутылка еще куплена, да луку ведро.



ИСЕТСКАЯ КАПУСТА

Вот один раз мы ездили с ним на двух лошадях. Одна-то лошадь тятина была. Возили в город хлеб продавать. А потом этот Пантелей Федотыч заказал нам капусту. Мы ему пятьдесят вилок купили, да себе двадцать пять.

Хороша капуста. До того она сладка, дак что есть рассыпается нето. Раньше все говорили, что исетская капуста хороша здорово.

Ну и выехали из Шадринска-то. А ехал с нами еще Усольцев Гришка. У него лошаденка худая была. Ну и вот. Сколько у них было вина-то, оне выпили. Да у меня одна бутылка была.

— Давай бутылку, — мой-то пристал. А я не даю.

— Давай Бурка, — а лошадь у нас маленька была, а здорово бегала. Я думаю: «Как подать Бурка, так оне загонят его. Погонят и загонят. Подала бутылку, оне выпили. Давай опять Бурка просить: вина-то нет, так нате Бурка. Я осталась с двумя лошадьми. Его-то лошаденка, Гришкина, да я на тятиной-то кобыле еду. А оне шаршились, шаршились, да лошадь-та как-то спятилась, да навалилась телега-то, да всю капусту-то и вывалила. Че же еко-то, всю обмяли, все листки. Давай складывать вилки-то. Склала, поехала тихонько. А оне угнали, а я шагом еду. Когда меня дождешься.

Было делов-то.

НИ ОВСА. НИ ДЕНЕГ

А тут один раз отец ездил, овса возил воз на продажу. А приехал без всего. Я, мол, че что есть и бутылочку не купил?

— А не на че брать-то, — отвечает. Воз продал овса и деньги потерял. В доме крестьянина где-то ночевали. Этот, — говорит, — Тимофей Филиппович все ходил ко мне покуривал. Ночью покурил с ним, да и опять спать. А у меня, — говорит, — валенки надали ноги, я взял да снял их. А нагумажник был в нижнем кармане. Внутри в штанах был карман пришит. Видно, голяшки-то сарапал, да и поднял ноги че ли... Хватился, когда уж все открыли, все ушли. Побегал, побегал — прибежал, а нагумажник-то лежит под койкой. А денег-то нету...

Всяко место было.

НИЧЕГО НЕ ПОМНЮ

А тут на Прошкино одинова он, мой-то, мужика нанялся везти из города. Тоже на Бурке. Вот погнали на Моховушку, там дедушко жил, Федор, а с ним рядом-то Окинтей жил. А этот мужик-то, прошкинский, им видно свой был. Посидели у них и обратно домой.

Приехали домой, в ограду заехали, я говорю: «Надо выпрягать лошадьту». А тот, прошкинский-то, говорит: «Нет, не выпрягать. Он меня нанялся до Прошкина везти».

А сам-то у меня пьяный, говорить не может. Мужик-то его вывел, на телегу-то бросил, вожжи взял, и поехали.

А я че сделаю.

До Мироновки доехали, мой-то — видно почувствовался, да взял его сопнул с телеги-то. Да пригнал, да так в ограду-то загнал, за столб захватил — столб-от уронил — заплот пал. Он матерится бегаёт: «Кто меня бить хочет, кто меня бить...»

А я: «Девки, прятайте все скорее: лом, да топор, да все». А он лопатку схватил, да выбежал за ограду.

— Кто меня бить хочет?



Я подхожу к нему да говорю: «Да кто тебя будет бить-то. Айда-ты, Сема, в ограду, айда».

Как он размахнулся лопаткой-то, я присела. А если бы не присела, он бы

меня што есть убил. Я бежать, он за мной. Я в сени-то забежала, а он по крылечку, по этому, по порогу-то, дак порог-то чуть не насквозь пересек лопаткой-то.

А как раз пришел Петя — его брат, уговаривать стали, моего-то. Уговорили. Он спать лег. А утром-то встали, я поправилась по хозяйству, сели пить чай. А пришел к нам Павел Ефимович, он все к нам ходил в гости. Пришел. Сел. Ну и говорит, протяжно так говорит: «Сема, неладно ты делаешь».

Тот: «А че?»

— А вот чувствуешь че, кабы баба-то не присела, дак ты бы ее убил... А вот лико, какая у тебя орава за столом-то (шестеро у нас тогда было — вставляет бабушка).

— Не надо так...

Отец-то говорит: «А я ниче не знаю... Ниче не помню...

— Да как это не помнишь?

Бабушка вздохнула и добавила: «Вот до че пил тоже дак. А потом стал осуждать молоденьких-то, когда старой стал».

ДРОВА ЗАВОДАМ И ПАРОВОЗАМ

Когда переворот сделался, дак куды-то надо было, на ете, на заводы да на паравозы дров. Из деревень возить дрова заставляли...

А у нас одна-то лошадь была все-таки кормная, а другая-та... Тогда был неурожай в 1921 году, не было корму-то, дак с крыш солому или осоку соберут, да ее топчут конями-то, вытрясут пыль-ту, да и кормили этим. А она у нас че, кобылешка слабая была. Отец вперед-ту доехал ничего, до городу-то, дрова сдал, а назад-ту поехал, она у него не пошла. Не пошла... Вовсе под Лебяжьим тут.

А ехал один мужик, он все к нам заезжал ночевать. Заехал и говорит: «Ваш хозяин едет, а лошадь у него одна не идет. Он ее выпряг, на другу все склад, туе сзади привязал, она тянется... Не знаю, как он ее дотащит».

Мы на Моховушку Петю послали, лошадь запрягли тятину, да поехали. И не встретились с ним. Он сюда домой, а мы другой дорогой туды. Нашли ее, кобылу-то, а уж не могли никак ее увезти-то. Она стоит, а не идет.

Уж потом додумались, нам надо было ее спарануть в сани-те, да привезти. А мы оставили ее. Утром-то поехали, она еще горячая, а уж кончилась...



ХЛЕБ ВЫГРЕБАЛИ

Когда этот, переворот-то был, дак тогда хлеб-от у нас весь выгребли... У нас бы хлеб-от. Этот был районным-то, дак он все ходил к нам, в амбар зайдет: «Давайте нагребайте еще десять пудов».

Возили, да возили... Еще десять пудов нагребли. Мы прятали хлеб-от везде. Отца-то не было дома-то. Он был на этой, на гражданской.

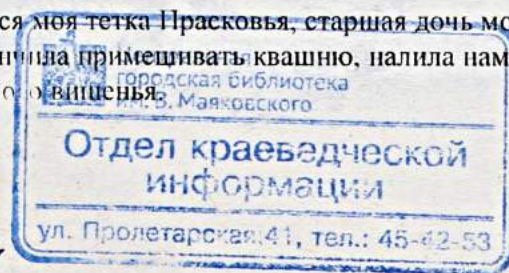
Вот это, нагребем мешки-то, то в поленицу закладем, то куда-нибудь, а потом страшно станет; опять найдут, дак хуже. Опять возьмем вывалим. А тот придет — столько хлеба, на другой день придет — больше.

— У вас почему хлеб прибывает? Давайте опять нагребайте.

Куда деваться — опять нагребаем... Ну, я последние десять пудов нагребла, да и повезла в Уксянку. Обратнo-то едем, а речка пошла, уж воды до брюха лошаде-то. А мы на санях были, стоим, дак по колен в воде. Мужики-то, те на облучки стали, дак не вымокли, а мы че, бабешки дак; нас было двое — Дарья была Сидоровых, да я. Я домой-ту приехала, а отец-от уж дома. Отвоевался и живой, даже не раненой...

ТРУДНЫЕ ГОДЫ

Тут в разговор включается моя тетка Прасковья, старшая дочь моей бабушки. Она только что закончила примешивать квашню, налила нам чаю с вишневым вареньем и сказала: «Вишня».



— А когда коммунистиче-то зачали открывать, тогда всю скотину велели сдавать в коммуну. У нас лошадь была, Бурком звали, здорово бегала. Мы корову сдали, курец всех. На нашей-то лошади всегда начальство ездило в Белоярский район из Лебяжьего через Петропавловку и Уксянку. Потом Бурко-то стал худущий — кожа да кости. Гонять-то гоняли, а не кормили. Да и не своя ведь лошадь-то была, а общая. У них своей-то, может никогда и не бывало. Некоторые уж шибко важничали, кого в комитет-то выбрали; где уж им за лошадью ходить да кормить.

А в тот год еще кобылка (саранча) все посекала, так нас, подростков, посылали в поле собирать ее пологом, а потом в яму закапывать. Да толку-то никакого не было. Где ты ее всю-то выловишь. Тогда только одна оттава и выросла на поле-то. Есть нечего стало, все из коммунистиче-то стали разбегаться, опять по домам свою скотину разбирать. Мы лошадь свою забрали, да давай ее откармливать, так она маленько выправилась.

Потом стали колхоз организовывать. Это уж добровольно... Вроде бы... У нас тятя не пошел в колхоз. Он плотник был хороший. Он забрал меня и поехали мы в Челябинск на лошаде на своей. Он оттавы-то накопил, высушил ее, и мы поехали. Потом он Бурка-то и продал вместе с упряжкой, а мы с ним пошли на строительство робить. Там завод большой строился. Сначала нас послали строить бараки для рабочих, а жили тоже в одном бараке



— большая такая комната, и в ней одни койки стоят в несколько рядов. У нас же не было своей-то койки, а тятя знал там одного мужика, так тот разрешил нам возле его койки устроиться. Так и спали прямо на полу. Потом он меня в няньки отдал. Ну, кого я там, с мужиками-то. На строительстве он тогда заработал хлеба несколько булок и повез их к маме в деревню. Наш-то хлеб весь выгребли комиссары. Она одна там с ребятишками-то осталась. — Настюха (это моя мама), Сергей, Тася, Шура, да Нюра. И как только она с ними выжила одна-то? Не знаю... А мне уж тогда шестнадцать годов было. Вскоре меня уж сосватали в Уксянку за Юрина Ивана. Да, всякого насмотрелась в те годы-то...

У мамы-то без тяти давай корову в колхоз забирать. Вот тебе и добровольно вступайте... Настюха-то вот постарше всех была, помнит как было...

Моя мать наморщила лоб, стараясь сдержаться, да не смогла — прикрыла лицо рукой да не заговорила, а запричитала как по покойнику.



— Коров-то погнали, а мама-то наша вышла за ограду, и мы всей оравой за ней высыпали. Наша-то корова раза три заворачивалась домой-ту, а ее понужают кнутом-то, ее понужают...

Она ревет, да все на маму-то и смотрит, жалобно так оглядывается... А мама-то закрыла лицо фартуком да только одно и твердит: «Да че же это делается на белом свете? Почему же так-то? А мы все пятеро вокруг мамы-то и ревом в голос... Мал-мала меньше...

Тут тетка Прасковья опять добавляет:

— Сколько середняков-то раскулачили тогда. Если есть две коровы, то кулак. И не смотрели на то, какая у тебя семья, да чьим горбом все нажито было. А уж если жатка есть — ты самый настоящий кулак. А теперь вон как люди живут. И по две да по четыре коровы держат, и полторник не один, и маленьких телят не по одному; да овечки, да гуси, да утки, да куры с индюками, да поросят без счету.

В гараже машина легковая, мотоцикл, рядом с домом тракторишко свой, да совхозный. Правда, кто успел «прихватизировать»... Другому поколению уже не под силу приобрести, большие деньги надо иметь. А где их взять рабочему человеку, кто не ворует, да не спекулирует? Видно, так на роду написано — вечно горб гнуть на кого-то...

ЗЫБКА НА БЕРЕЗЕ

«Слух по деревне прошел, что идут «белые» и всех режут сподряд», — рассказывает баба Дуня. Люди конечно ополоумели. Давай быстрее лошадей запрягать да в лесá гнать со своими семьями. В лесу стали становиша готовить. Шалаши обустривать.

Одни тут недалеко с грудным ребенком были. Зыбку с собой захватили. Ребенок-то заревел. Что делать? Надо как-то успокаивать его. Мужик додумался залезть на березу-то да нагнуть ее. Да зыбку-то привязать к вершине-то, чтоб качалась. Может ребенок-то тогда и перестанет реветь-то. Да видно толстовату березу-то выбрал. Зыбку привязали, да отпустили. Береза-то полностью и распрямилась. Зыбку-то подняла. Ребенок там хайлат во всю матушку. А надо чтоб тихо было, чтоб «белы-те» не услышали.

Вот баба-то с мужиком-то и бегают вокруг березы-то. Как достать зыбку? Не знают. И залезать-то бояться, а вдруг березка сломается...

И смех, и грех...

Было делов-то...

НА МЫСУ

— Ну, так вот слушайте, — начала Е. Г. Кудрина. Она остановилась на секунду. Тревожная тень пролетела в ее глазах ночной птицей, резче обозначились морщины на лице.

— В восемнадцатом году это было. В августе месяце. Страда началась. Хлебушко убирать в самую пору. Но времечко-то неспокойное стало. Разговоры пошли, что Колчак идет, а с ним чехи...

В большевиках-то у нас Осип Сергеевич Беринцев верховодил. Он просветительный кружок вел. Вернулся он с германской войны вместе с дружкой. Тот тюленевский был. Земляка-то его оказывается подкупили, чтоб он уговорил Осипа провести собрание сочувствующих коммунистам. Кто-то, видно, оповестил белочехов, которые уже недалеко стояли. Народу в избе человек 30 набралось. Заседали у Осипа, в крайней избе. На Мысу. Иван Широбашин — однополчанин Осипа-то, все на часы поглядывал. Закрыли окна ставнями, задернули задергушки и открыли заседание.

Ночь темная была. Чехи подкрались — и на подводах и верхами. Человек 50 их было. Окружили избу. Стучат в ставни.

В избе погасили огонь. Осип выскочил из избы-то да за угол. Тут и ослепил его выстрелом в упор дружок его — Иван Широбашин. Он, видимо, раньше всех из избы-то ускользнул. «Вот этот, — говорит, — главный большевик».

Осипа долго били ногами. Один даже штыком ткнул. Бросили в воротах. Он не шевелился. Заскочили в избу. Многих скрутили и выволокли во двор. Другие разбежались кто-куда. Со всех сторон стрельба идет. Кто в лога, кто в пшеницу.

Жуков Александр Семенович и Беринцев Николай Кириллович доползли до кладбища. Залегли там. Жуков заворотился, чтоб дома сказаться.

Белочехи всех убитых и раненых стащили в кучу. Поднимут за волосы, если живой — то добивают. Пошли чехи по деревне. На дому взяли троих человек. Тут-то и Жуков наткнулся на них.

— Стой! — говорит. — Кто такой?

А он: «В поле, — говорит, — ходил. С работы домой иду.

— Знаем вашу работу. Забрать его! Схватили, привели на Мыс.

— Так это Жуков, — признал его Широбашин. — Попался, голубчик. Заединщик с ними.

Жуков выхватил у ближнего солдата винтовку и только хотел Широбашина пристрелить, тут его шашкой по руке рубанули. В последний момент

он еще успел вскочить на огород, но раздалась выстрелы и он свалился в реку. Под плотом всплыл, там и сидел. Долго его искали. Гранаты бросали. Видно там его и убило.

А Беринцев Николай Кириллович так и остался в конопле лежать. Потом скрывался 6 месяцев. Как затихло все и чехи ушли, он пробрался к себе в огород, залез в яму. Там его и кормили. Потом стал домой ходить, спать-то.

Как-то приходил к ним Кирилл Калиныч. Он из богатых был, но как-то свой им приходился. Никола-то и скашлял. Табак курил, дак. — Никола-та у вас оказывается дома, — удивился тот. — Давай, выходи. Ходи по воле, никто тебя больше не возьмет.

И действительно, его больше не трогали. Вот он живой остался. Совсем недавно помер.

А отца моего, да сродного брата Кудрина Григория Гурьяновича и Кудрина Поликарпа Поликарповича и Уфимцева Григория Ивановича увезли в Ольховку. Арестованных посадили в пустую лавочку. Держали голодными, без питья. Расстреляли их на рассвете, у мельницы.

Жукова Г. У. и Фролова Н. В. отпустили домой.

Осип Беринцев очнулся — лежит у ворот. Рядом с баней у него был мох навален. Он дополз до него и зарылся. Двое суток так пролежал. Потом родные случайно наткнулись на него. Заклали мусором и вывезли в лес. Туда ему еду приносили.

На сродного брата стали напирать. Мол, куда Осип-то девался. Главари ваш. Пристращали, что расстреляют всю семью, если не скажет.

Он поехал в поле. Осип вышел. Тот рассказал ему все. Задумались. Что делать? Осип и говорит: «Поезжай, заяви чехам. Приедешь — я выйду».

На нем живого места не было, весь израненый был. Вот и решил. И чтоб спасти семью сродного брата.

Чехи забрали его и увезли в Ольховку. Говорят, что расстреляли потом в Шадринске.

БАБУШКИНЫ БРАТЬЯ МАСТЕРОВЫЕ — МИХАИЛ И ФЕДОР

Дедушко Федор, — вспоминает моя мама, — нашей бабы Дуни отец, был церковный староста. Грамотный очень был. Все коммунистам-то в глаза высказывал, что он о них думает. А кому это любо будет? А те опять стращали его, что засудят.

У дедушки Федора, кроме нашей мамы (т. е. бабы Дуни) еще два сына

было — Михаил и Федор. Тятя-то (дедо Семен) у нас все с этими ребятами вместе были. С мамиными-то братьями. Они вместе все кого-то хомутались возле огня-то. Все кого-то ковали да ремонтировали. Знали это руко-мсло, но все больше самоуком доходили. Нигде не учились, да и негде было.

Вот тятя-то все возле этих робят-то и крутился. Тогда еще единолично жили. К ним все везли, у кого что сломается. Они и ремонтировали. Переломки и другие всякие ружья мастерили. Потом оружейными мастерами стали — дядя Миша — Задорин Михаил Федорович и дядя Федор — Задорин Федор Федорович. Дядя Миша очень известный в Шадринске мастер был по ружьям и по швейным машинам. Да и по другим механизмам — будь-то старинные стенные часы, будильники, патефоны или велосипеды. Любой механизм разберет, любую сломанную деталь изладит и снова соберет. У него и станочки всякие были по железному делу.

Дедушко Федор, ихний-то отец, и заметил нашего-то тятю. Видит, что парень работающий и сообразительный. Вот и отдали за него маму-то (бабу Дуню).

Дядю Мишу призвали служить в Шадринск. Он там и остался, в оружейной-то мастерской. Женился вскоре. Потом и дядя Федор с теткой Верой к нему переехали. Они жили по Советской, а дядя Миша с теткой Авдотьей по Вокзальной. Они были мастеровые, дак кого им в деревне-то делать. Тем более, что всех начали в колхозы загонять.

Это в 1927 году было. Тятя еще на своей лошаде меня привез в Шадринск к тетке Вере и дяде Федору. Я в няньках у них была. Водилась с ихним Митянком. Тетка Вера на целый день уберется. Где-то ходит. Она все торговала. Перепродавала... Заработает барышу-то, принесет домой аржаного хлеба — черные большущие буханки. И дядя Федор придет с работы. Они в подвале тогда жили. Холодно у них было. Стол стоял да койка. Негде спать-то. Вот я и бежала вечером к дяде Мише да тетке Авдотье ночевать. Бегу по городу. Темно. Страшно... Улицы считаю: Советска, Пролетарска... Вот и Вокзальна наконец-то. А утром опять к дяде Федору. С Митянком водиться надо.

У тетки Веры кроме Митянка еще родилось потом четыре дочери.

А сыновья дяди Миши — Иван и Леня тоже мастеровыми стали. На Володарке швейные машины ремонтировали. А третий сын — Сашка, — выучился на инженера. Теперь он большим начальником в заводе работает на «ЗИСе» (нынешний АО «ШААЗ»).

«Вобщем братья бабы Дуни, — дополняю я, — жизнь прожили не зря. Но палат каменных праведным своим трудом не нажили... Хоть и владели

рукоеслом редчайшим, как по тем временам, так и по нынешним...»

БАБА ВЕРА

Мы с бабой Верой сейчас в одной деревне живем, в Верхней Полевой, что на другой стороне Исети, напротив АО «ШААЗ», где я и работал. Она иногда к нам прибегает. Ей уже скоро 91 год будет. Век изживает... Но крепкая еще старуха. Шустро бегает. Недавно перестала торговать-то бегать в город. А то весной, бывало, наростит луку, два ведра на коромысло и айда в город лугами. 30 минут и она у проходной завода. Торгует там. Рабочие хорошо и быстро всю зелень весной-то разбирают. Пришла как-то к нам в гости и рассказывает: «Мой-то дедушко Федор вот уж больше 10 лет назад как помер. А я все живу. Да бегаю. Никак Бог не приберет...»

Я че к вам пришла. Мне надо позвонить дочери. «Как у тебя мать-та здоровьем-то?», — спрашивает меня баба Вера. Она еще маленька была, а все бегала ко мне с Митянком водиться, когда мы в Шадринске-то жили.

— Всяко бывает, — отвечаю ей. Летом прошлый год вон по грузди ходила да попала под дождь. Вымокла. И захворала. Еле выкарабкалась. Давай травы запаривать да пить. Еле окостыжилась. Ей уж 75 стукнуло.

— Ну, еще молодая. Против меня-то, — улыбается баба Вера. Жить да жить. Только бы здоровье было.

Я вот беспокоюсь за дочерей. «Что случилось? — думаю. — Не едут что-то. Ни та, ни друга не едут. Я начинаю беспокоиться. А они, видно, не шибко переживают. А тут как-то младшая — Аннушка-то и говорит: «Давай, мама, переезжай к нам жить-то. Мы с Володей одни остались в доме-то (Две дочери у них. Одна у них медицинский институт закончила и вышла замуж. За сына генерала. Вторая тоже в институте учится — на модельера). Володя у меня все по командировкам ездит. Отдадим тебе комнату, — говорит Аннушка. — Живи у нас».

А я думаю: «Нет, не надо мне никакой комнаты. Это в каменной-то клетке целыми днями сидеть? С ума можно сойти. А тут у меня свой дом. Деревянный. Я всех людей знаю тут. Всех подружек оббегу да посудим с ними обо всем. Вот и время пролетело незаметно. Да дома че-нибудь поделаю. По-хозяйству. Или в огороде. Хватает работы. Особенно с весны до осени. Все-таки шевелюсь. Да и воздух мне в городе не нравится. Газы одни. Что есть дышать-то не хочется. Он где-то в горле застрекает. Да в своем-то доме я полная хозяйка. Захочу — ночью встану. Да поем. Или в туалет. Нет! А у вас проснешься и лежи до утра. Не шевелись. Жди — когда все встанут.

Надо ведь свет включать. А в туалете вода вонче урчит — всех разбудить может. А вам на работу надо. Со мной разве выпитесь? Нет! Не надо мне никакой комнаты! Я все еще пока могущая, дак буду бегать на своих ногах и жить в своем доме. Ниче мне не надо. Да и огород у меня. Разве я его брошу. Я еще и вам подмогну. Все свеженькое с грядки. Лук, огурцы, помидоры, картовь, морковь, свекла, капуста. Приходите ко мне — семечками угощу — пощелкаете. И варенья, и солений всяких. Приедете — всего от матери увезете. Полакомитесь...

СОВРЕМЕННЫЕ ИДЕИ

У моего-то внука — у Фельки-то (у сына старшей дочери), развитая девочка растет. Понятливая, — рассказывает баба Вера. Пока тут баба Вера речи разводила, к нам соседка бабушка Тамара заглянула. Она частенько к нам в гости заходит, посидеть, посудачить. У нее правнучка появилась. Вот она и ходит к нам рассказывает про свою правнучку, довольная. Радехонька. Показала бабушка Тамара своей внучке на телевизор и говорит: «Давай, Маринка, танцуй, как там. У Марии-то, в кино-то!» Та еще толком ходить не научилась, не может одну-ту ногу приподнять-то. Так хоть на носочек да поставит. Ну, а руку-то поднимет да изогнет. Ну, чисто балерина или танцовщица настоящая. А самой-то всего от роду 10 месяцев. На другой день бабушка Тамара опять прибегает и рассказывает: «Все, Маринка уже танцует! Одной ногой только. Одна-та нога на месте стоит, а друга-то поворачивается вокруг — как трактор гусеничный».

Баба Вера продолжает рассказывать: «Современные-то дети насмотрятся видно в телевизоре-то и начинают с пеленок выкаблучивать. Поглядишь — в «утренней-то звезде-то» вон че оне делают. И по-заграничному и всяко. Сами-те еще нехотина, а уж лытки задирают да задницей вонче вертят. Одним словом — современные дети.

А я родила Митянка, — продолжает баба Вера. Мой-то Федор подходит и спрашивает: «Ну че Вера, Митянку-то у нас слепой что ли родился? А сам посмеивается. Сами знаете — у родящих-то глаза узкие, узкие.

Ты че, — говорю, — Федя! Бог с тобой! Только котятка слепы-то рождаются.

Наташа подговорила: «А у нашей кошки нынче котенок сразу почему-то зрячий родился. — Во, во, — подтверждает баба Вера. — Все нынче не так. Все перемешалось. К добру ли, к худу ли. Уж не знаешь, на что и подумать?»

СТРОИЛИ СОВХОЗ ИМ. БУДЕННОГО. 1932 г.

«Когда тятя с Парасковьей вернулись из Челябинска с заработков-то — смотрят, коровы нет — в колхоз угнали... Что делать? Тятя не захотел в колхоз-то идти. И единолично не стал жить. Да и не давали единолично-то жить. Одному-то с такой оравой тяжело. Он забрал нас семерых с мамой и перевез в Белоярку, — рассказывает моя мама. — А сам ушел с Сергеем наниматься плотничать».

Тут продолжает вспоминать баба Дуня:

— Вот это сам-то у меня ушел с Сережкой. Вот неделя прошла, вот две прошло. Я не знаю, где они. Я забежала к Машеньке: «Машенька, Митрей был дома? Она говорит: «Нет, не бывал».

— У меня, — говорю, — мужики куды-то девались. Вот уже третью неделю нету. Не знаю, где они. То ли в Свердловск уехали, то ли где? Если бы в Свердловск, так они бы зашли в Шадринск, к брату Михаилу или к брату Федору. Я у своего-то тятеньки спрашивала. Он там, в городе-то, недавно был. «Нет, — говорит. — Не видал, не бывали». А Машенька и говорит: «Вот приехал Михайло Павлович, так сказывал, что ехал он из города возле какой-то бригады и остановился лошадь накормить, а тут петропавловский мужик робил. Ну он с ним и разговорился: «Наши-те, — говорит, — здесь тоже есть. Где-то Дмитрий Павлович, да вон недавно пришел старик с парнем». — Я тогда поняла, — вздохнула облегченно бабушка. — Они, наверно. Через три-то недели они заявили. Пришли да хлеба притащили нам. Отцу-то стали давать и на иждивенцев тоже. А так-то не давали, пока не робили в совхозе-то.

А осенью мы все к ему туды приехали. Ребятам надо в школу, а школа в Белоярке. Етта домов-то не было ни единого. Пустое место было. Лес кругом. Мы опять с ребятами-то уехали в Белоярку — там нам дали дом «кулацкой»... Вот Настасья-то и говорит: «Дак, мама, я че, большая дак в перво что ли меня посадят?» Она не ходила раньше-то. Не в чем было ходить-то. Ни обувки, ни лопотины не было дак. Только со взрослыми месяц ли че ли проходила она. «В перво посадят, а я пятнадцати годов уже. Стыдно ведь», — подговорила моя мама.

А бабушка продолжала:

— Но ее сразу в третье посадили. А Сережка у нас учился уже в третьем. Дак она его догнала. Потом Тася стала учиться. Им стали давать по 500 г. хлеба — ученикам-то. Трое у меня учеников да трое неучеников. Нюра была, Шура да Маня. А старшая, Парасковья, так и не училась нисколько — боль-

шая уже была. Она все робила с отцом. А потом замуж ее отдали. Неученикам-то по 200 г. только давали хлеба-то... Иждивенцам-то...

Рассказывает баба Дуня:

— Туды вон все были землянки. Где Гриша-та Бирюков жил, там все землянки были, за болотом-то.

— Я это все помню... Сам в землянке вырос, — подтверждаю я. — У нас в совхозе было два края. Участок — это наверху, где контора, магазин и дома для начальства были. Да бараки настроены для свинарок. И внизу возле логов-то на буграх — землянки — дополняю я бабушкин рассказ. Она продолжает: На той вон стороне лога счас только Офоня Колчин и остался один. А ведь все были землянки. Много было их. Где Парасковья теперь изба стоит. Туды вон в сторону кирпичного — все землянки нарыты были. И в сторону песочных ям, аж до самого лесу тоже землянки были, — добавляет тетка Парасковья. — Где Фекла-та Жиделевых жила.

— А мы приехали дак етта только вот Жуков жил. А вот тут вот, какой-то Сапожников, где сейчас Южаков Михаил живут.

Да была поставлена изба Уфимцева Офони, тут вот к лесу-то. Да Стерховский дом был. А етта никого не было. Лес был. Шипишник кругом. Весной-то как выйдешь, дак что есть зелено, медуницы растут, цветет все.

Потом избу-то перевезли, землю-то руками копать надо. Здесь пахать-то нельзя. Пеньки кругом да корни всяки. Мы балаган сначала сделали, когда избы-то еще не было. Береза густая стояла. Мы над ней и сделали балаган-то. У меня было два полога привезено. И спали там все.

Вот вечером-то накатила оттуля туча. Я, мол, пройдет, дак тожно пойдем спать-то. Как это сгремело, да в березу-то как базгнет. Она пала на балаган-от. Нас бы придавило всех... Но береза-та высоко сломилась, дак балаган-от целый остался, вершиной-то не захватило.

...38 лет будет как етта живем. Вот в этой избенке всех девок тут вырастили, семерых и замуж отдали, только Сережка с войны не пришел...

...А 12 октября снег, такой снег был. А лошадь худая у нас была. Мы кое-чего наклали на телегу. Поехали. Ну там постелешку, да лопотинешку. Ну екая семья дак. Вроде немного, а ведь тяжело. Мы наверху ехали. — Шура, да я Маньку везла маленьку в колнях. Парасковья уж замужем тогда была. А Тася, Шура и Нюра остались в Белоярке. А Настасья-та с отцом пешком бежали. Они от этой, от Колосьянской степи убежали от нас. Сам-от говорит, что надо печку там затоплять. А лошадь у нас никак не пошла. Шаг шагнет, да остановится. Без мужика-то... А я наверху. Дак, О! О-о! Думаю, замерзну тут.

А когда собирались, хорошо, что бабушка Софья выскочила, да и гово-

рит: Овдотья, возьми-ко тулуп, а то ведь холодно будет ехать-то. Кабы без тулупа дак вовсе бы я замерзла. Едва не едва приползли. Ой ё чень-ки!..

Да приехали в свинарник. Только три ночи ночевали. Свиной-то приняли, куды нас девать-то. Три дома было только всего.

— Как три? — не соглашается т. Прасковья. — Пять домов-то стояло.

— Пять? — Да-да-да. Но тут-то у колодца только три вроде было.

— Ну сейчас вот Елена-то Ефремова в коем жила, дак он тоже тут стоял. Петро-то Маленький увез, он тоже тут-же.

...Прорабом-то Иван Алексеевич был. Он поехал в Белоярку. Там на краю-то много было раскулаченных... Дак дома-то пустые стояли. Нам дом дали. Вот Анна-то, Фроськина-та мать. У них Цыганко был да Маринка. Да Фрося-то со свекровкой. Они в горнице стали жить, а мы в избе. Изба-то большая, мы топим, топим, а она не нагревается несколь. Сядем на печь, сидим. Утром я возьми да и закрой вьюшку. Сидим. Я говорю — давайте, ребята, рассветает уж, айдате обедать. Я картови наварила. Наварила картошки-то, поставила на стол. Коей только слезет с печи-то, и падет. Как слезет, тот и падет... Угорели... Да давай блевать. Я за имя ходила да ходила. У Шурки дак у тоей вовсе разнимали зубы-то ложкой да толкали ей в рот-от капусты студеной. Вся аж почернела даже. Чуть не до смерти угорела.

Пока я за имя ходила, они улеглись спать. Только Настасья с Сережкой пошли в школу-то. Остальные все спали. Тася да Шура, да Нюра. Я и сама-то угорела. Целу неделю по всей ночи не спала. У меня сильно голова болела. Вот заболит, заболит. Я — ой ё, девки, Ой ёё-ё. Только чё-нибудь делайте-то ли сарапайте голову-то, то ли чё. Ну вот, скажи что есть терпенья никакого нету моей головушке. Потом я пошла к бабушке к Жиделевой. Говорю ей: «Бабушка, шибко я хвораю. В больницу ходила и никакого толку нету. Она отвечает, что это у меня с уроков сделалось. Изурочил кто-то. Поочерчивала меня, мне легче стало. А соседка через дорогу жила, пришла да и говорит: «Потащите-ко у нас печку железну, да топите». Мы притащили ихну печку. Давай топить. Тепло стало. Манька у меня с полатай-то падала, чуть не зашиблась. Прямо на голову. А вот нечё не сделалось. И с печи-то падали. Когда их много-то, дак им ниче не делается. Это когда один-от, дак все чё-нибудь к нему стренет (Пристает всяка хворь). Всяко пережили...

А весной-то нас выжили оттуля, из кулацкого-то дому... Мы с Анной пошли к Павлу Гурьяновичу. Он нашел нам другу избу.

Вот мы зиму-то в Белоярке, а к лету опять в совхоз. Етта робить надо. Мы строили тут свинарники. И в их сначала-то и жили. А потом, как свиной-то пригнали, так нас и выселили. Рабочие стали землянки рыть на угорах. Да в их и жили...

«Я эти землянки хорошо запомнил, — встречаю в разговор я. — Мы с матерью вдвоем до 1955 года в землянке прожили. И у коровы с курицами тоже была землянка вырыта. Мне уж тогда 11 лет было. Все в земле жили. У нас в землянке была печь с лежанкой сложена. Стол да кровать. Вот и вся обстановка. На середине стояла железная печка-буржуйка с трубой. Труба подсоединялась к дымоходу. И три окна под потолком. Мама с темна до темна на работе. Так мы с ребятами, с такими как я, военной и послевоенной безотцовщиной, соберемся у нас, топим железную печку-буржуйку да печем в ней нарезанную пластиками картошку, посыпав ее солью. Вкусно! А вечером сидим в темноте на русской печи и рассказываем друг другу страшные истории.

Бабушка отдохнула немного, пока я тут втиснулся со своими воспоминаниями, и снова стала рассказывать:

— Дело к зиме шло. Свины могут замерзнуть. Вот нас и выгнали из свинарников-то... Летом мы все вместе жили в совхозе. Где попало ночевали. А на зиму-то со всей оравой в Белоярку уезжали. Восемь человек дак, где им в землянке-то поместиться. Да и одному-то когда строительством заниматься? Надо казенную работу делать. Некогда строиться-то...

А в 1936 году, т. е. через четыре года только, купили маленькую избушку в Белоярке — одна комната всего и перевезли в Буденно-то. Поставили. Тятя еще кухонку прирубил — три стены, да сенки построил. Но это уже после войны, когда в 1946 году пришел из трудармии. Ему уж тогда 49 лет было. Сережка у нас не вернулся. Убили его на войне.

А мы, семеро, в этой избушке-то и выросли. Повернуться негде было. Спали и на полу, и на полатах, и на пече. Да ты, Леня, еще тут мешался каждый день. Я пойду на работу и заведу тебя к бабе с дедом.



ИММУНИТЕТ ПРАДЕДУШКИ

Родители нашей бабы Дуни были сильно набожные. Отец ее — Задорин Федор Павлович был церковный староста. Мать звали Александра Вилантьевна. У них много книжек было старославянских.

Рассказывает моя мама — Задорина Анастасия Семеновна:

— Дак, кого тогда, когда беднота-то к власти-то пришла, давай по ушению коммунистов книги церковные жечь, да иконы. С церковей колокола сбрасывать. Да церкви-то взрывать. Не понимали нече. У нашего дедушки Федора тоже все книжки отобрали. Так он с табуреткой кинулся на уполномоченного-то. У дедушка много старинных церковных книжек было. Их потом пьянчужки да неучи сожгли вместе с иконами...

Дедушка посадили. Но недолго держали. Отпустили потом. Но приткнуться ему некуда стало. Дом отобрали. Старший сын Михаил мать к себе взял, когда дедушка Федора посадили. Он потом к нам приехал, в Белоярку. Побудет возле нас маленько и опять уйдет. У нас и так семья-та большая — 9 человек. Да все девки. Работников-то нелишка.

Дедушка Федор ходил по деревням с котомкой и собирал милостыню. Кто что подаст. Этим и жил. (Сейчас не проживешь, не подадут потому что. Подохнешь. И никому не нужно...).

Придет к нам, принесет нам хлеба. Нас, девок-то все подкармливал. Давай нас угощать милостыней-то... Кусочками...

Потом он картошку караулил в Понькиной. А ребяташки, видно, зажгли у него балаган-то. Все сгорело у него, все рубахи с перемывахой. После этого он все больше около нас обигался. Все на печи сидел. Да с тобой, Леня, водился. Помнишь, нет? Тебе уж четвертый год шел тогда. Должен помнить.

— Смутно очень, мама. Один дух святой помнится, а человека-та уж не представляю, — отвечаю я маме.

— Перед тем, как умереть-то, он взял тебя, продолжает мама.

— Посадил к себе на колени. Когда он уже слез с печи-то. Да молитву запел. Держит тебя на коленях-то, а слезы у него бегут шибко, шибко... Он их не вытирает. Все поет. И вскоре умер. В 1948 году это было.

— Видимо, что-то передал он мне, размышляю я. — Что-то божественное я всегда в себе чувствовал. В детстве — интуитивно. А теперь почти воочию и вижу и ощущаю. Не зря же я от техникумовской специальности технолога повернул к искусству — к живописи, графике и литературе. Порой рисую или пишу и не знаю как все получается. Будто бы само собой.

Как будто кто-то водит моей рукой. Потом удивляюсь даже. Неужели это я нарисовал? «Да, — думаю, — без Всевышнего тут не обошлось. И слава тебе, Господи! Что не покидаешь меня...»

И иммунитет, видимо, тоже от прадедушки Федора ко мне перешел. Уж как я не терплю всякую несправедливость и издевательство над людьми. Раньше коммунисты издевались, а теперь чуть разбогатевшие, кто наворовал или начинает воровать... При каждом удобном случае норовят власть показать. Да покомандовать... Будто они теперь пуп земли... О, как я ненавижу этих прохиндеев и хапуг... Как ни агитировали меня коммунисты вступить в их ряды, в которых я не видел ни одного примера для подражания, так и не смог. Я все же выстоял, не соблазнился их обещаниями о доходной должности, о машине, квартире и даче... Не захотел я пополнять их хапающее племя. Так что спасибо, видимо, прадедушке Федору, что не запятнал я свою совесть.

И в конце концов, в возрасте 50 лет я принял решение — окреститься. То есть стать христианином...

С тех пор, как я начал заниматься живописью, я стал общаться с красотой, природой, с космосом, т. е. с божественным...

И в 50 лет до меня дошло, что Бог — есть вся Вселенная. Ее душа, что ли в образе Бога. Что Бог есть любовь ко всему сущему и ко всем. И Бог есть красота, т. е. все Божественное. Потому я и сделал первый шаг навстречу Богу...

Пошел в церковь — в Спасо-Преображенский собор. Купил свечку, поставил и помолился Господу, чтобы он отпустил все мои прегрешения. Чтобы он благословил меня на добрые дела — на написание следующей книги — «Бабушкины сказки» («Все пережили»). В церкви шла служба. По окончании ее я обратился к батюшке с просьбой. Могу ли я в этом возрасте стать крещеным. Он ответил, что к Богу прийти никогда не поздно.

После чего и был проведен обряд крещения. А в следующее воскресенье — причащения. Я считаю, что это еще один шаг в моем саморазвитии, в моем самосовершенствовании. Шаг к духовному возрождению. Что это шаг к приобщению мировой нравственности, шаг к развитию всего человечества. А не к разрушению... Разрушителей и так хватает. И нейтральных тоже... Обывателей да мещан, живущих для живота и тела своего.

Кто же будет для духа жить? Если не с Богом и Божественным, то значит с Сатаной, Дьяволом? Хотя и не согласятся многие с Дьяволом быть в одном стане, но это получается именно так и само собой. Так что давайте, будем выбирать. С кем мы, господа человеки?



ИЖДИВЕНЕЦ

Моя мама с темна до темна работала на конном дворе. Мы с ней вдвоем жили в землянке. Одному мне страшно было оставаться. Вот я и обитался больше у бабушки. У ней, правда, семья большущая была — семь девок, семь ртов. И без меня места мало... Поэтому я все больше сидел на печи или на полатах. Мне сверху все хорошо было видно, как баба Дуня возле печи крутится. То квашню примешивает, то румяные шаньги да калачи вытаскивает из печи.

Одного хлеба без всякой другой еды можно было наесться. Шаньгу съешь и сыт. А если с молоком, так лучше и не надо.

А девки придут из школы — Тася, да Шура, да Нюра, да Маня, да Валя и все в голос: «Мама, мы есть хотим!»

«Ешьте вон калачик с молоком», — отвечает баба Дуня. Нальет им по стакану молока.

— А ты, квартирант, ел, нет? — спрашивает Нюра у меня. Я отвечаю: «Нет, не ел». — Ну садись, Леня, с нами, — скажет кто-нибудь из девок. Я быстрее за стол. И мне нальют стакан молока. Я сяду с ними. Тут опять Нюра со своим язычком:

— Леняша, а у тебя в стакане-то таракан вроде.

Тут меня никакими силами не заставишь есть. Нехотя, но убираюсь. Залезу под стол. Сижу там, пыхчу. А девки опять за свое: «Ты бы, Леня, хоть частушку каку-нибудь спел нам».

Я, недолго думая, во всю глотку запою им:

— Таракан дрова рубил,

Муха песни пела.

Таракан башку срубил,

Муха заревела.

Девки хохочут. Довольные.

Баба Дуня спросит: «Где же у нас Леняша-то. Че не слышать его нигде». Пойдет за молоком, а я сижу возле кринок и в одну из них кошачью морду засовываю — то есть кормлю кошку молоком. Я, правда, сам этого не помню. Мама про меня рассказывала. А баба Дуня только руками всплеснет: «Испортит молоко-то. Придется телянку или курицам выливать».

«Или как на печке сидел и сыпал пророщенное зерно в корчагу с квашней. Покастил...» — добавляет мама.

«Всяко место вытворял тоже. Маленько-т». Вечером баба Дуня накормит меня молоком с хлебом, я оденусь и сижу на лавочке возле печи. Жду, когда за мной мама придет. Спину хорошо пригревает. Аж в сон клонит. А Нюра, покойная головушка, моей мамы сестра, опять за свое. Все подковыривала: «Ну, Леняша, ты у нас иждивенец. Ты хоть бы со своим хлебом приходил к нам что ли».

Я дома-то возьми да Расскажи это маме. Утром она собрала на санки небольшой мешочек муки. «Вот, — говорит, — вози бабе Дуне. Чтоб тебя иждивенцем-то не считали». Я пришел к бабушке с мукой. Девки хохочут надо мной:

— Вот теперь ты не иждивенец! Садись молоко с картофельными шаньгами поешь.

Это была моя самая любимая и самая вкусная еда...



РАБОТА НА ПРОИЗВОДСТВЕ

Баба Дуня дальше вспоминает.

Пришли как-то к прорабу, а он: «Нету работы про вас. Айда-те на Демьян». А мы, мол, вот чё, мужики етта, а мы на Демьян пойдём. Тут от Буденного-то ещё один совхоз тоже строили на пустом месте. Километра четыре. А он: «Надо было раньше позаботиться». А я говорю: «Мы пешком робят-то притащили. У нас вон сколько их».

— Ну тогда, перво-наперво идите ко врачу в Белоярку.

А у меня рука болела чё-то. Я думаю — не примут меня на работу. Куды я деваюсь. А такая семья. Пришли в совхоз-от, а он не спросил справку-то. «Айда-те чашу собирать вон за песочными ямами. Там лес был вырублен. Адакой был. Уж не единова вырубали за эти годы. А потом меня поставили в барак техничкой. Там, где сейчас магазин. Я проробила два месяца. Не могу робить тут и все. Тут надо бойкому быть-то. Я натаскаю дров к етому, к кипяtilьнику. Три раза кипятила кипяtilьник. Чай пить. Большой такой. Утром встану — у меня дров-то нету. Растащили.

Я стала говорить Ивану Петровичу: «Вы меня оттель уберите, пожалуйста. Не могу я тут робить. А приехал Иван Гурьянович с бабой. Ее поставили вместо меня. У них баушка бойкая была. «Баушкой жабой звали», подтверждаю я. Баба Дуня заулыбалась. «Правильно. Помнишь бабушку жабу что-ли?» Анна-те моет полы-те в бараке, а бабушка у дверей стоит. Никого не пушает: «Не ходите, не ходите, пока она не вымоет. Я кого, слова не могла никому против сказать. А. Н. Гурьянович — начальник, с ним-то, с женой, да с бабушкой-то жабой не поспоришь».

ГЛИНУ ВОЗИЛИ

Меня потом на лошадь перевели. С Мишей Усовым мы на паре за глиной поехали... Где Стерховы-то жили. — Тут ямы глубокие были. Приехали первый раз, он стал бросать глину-то на бричку, а я землю отчищала. Он набросал бричку. Поехали. Свалили к строящемуся дому. В другорядь поехали. Михаил-от сел курить, а я спустилась в яму. Меня не видать в ней. Я давай копать да бросать глину-то. И набросала бричку... У меня и сделался понос. Да все лето что есть. Ну никак вот не могу. Потом одна уж стала робить-то. Еду, еду — меня прижмет. Я под телегу и все... Опять поехала. Ни штанов, никого не было тогда дак. Нижнего-то. Опять поехала. Сам-от у меня говорит: «Разве ек надо робить-то?»

— А я, мол, а че?

— Надо, — говорит, — потихоньку робить-то на производстве-то... А то оставишь меня с робятами-те. С такой оравой... Умрешь дак... Куда я с имья?

...И в больницу ходила и толку нету. А потом осенью-то все поехали в Белоярку. Я там в кладовой нашла троелистку. Да взяла в чайнике заварила ее и давай пить. Стала пить-то, мне лучше стало.

— Баушка наскажет вам всякого места. У вас бумаги не хватит записывать-то, — посмеивается тетка Прасковья.

БОТИНКИ ПОТЕРЯЛА

Я в тот год робила в Белоярке. Заставляли ломать там кладовы да чеботаренки у раскулаченных. И дома ломали. И поделок выламывали. Потом перевозили в совхоз-от и строили начальству дома... Пошли это мы в баню обедать, а я ботинки чё-то сняла да и оставила в дому-то. Новы у меня были. Потом пришла, а у меня их быть-бывало. Потеряла ботинки-те...

Отцу (т. е. мужу) известие пришло, что я ботинки потеряла. Он прибегаёт в Белоярку.

— Ну, ак чё ты делаешь? Ну как ты?

— Ну вот оставила дак. Да чё ты сделаешь...

Купили у свата Максима старые — за тройку. Я ходила лето-то.

СУДОМ СТРАЩАЛИ

Как-то отец приходит домой и говорит, что велят всем семена засыпать для казны. По комиссиям таскают, да судом стращают. А я не знаю, что говорить на суду-то, раз у меня нету семян-то. Где я их возьму? Я только собрала на стол. Налила похлебки. Сама села. Он на этот угол, а я на тот.

Заходят два мужчины. Краснорожие такие. Один с папкой под мышкой. Он ко мне сразу: «Ты, хозяйка, опись просила?» Я, мол, чё это я буду просить опись. Вот у меня хозяин есть.

— Да какой такой Никандрович? — спрашивают оне. Отец говорит, что наверное Петьша, наш брат-от. Видно Татьяна, его жена, просила. Петра-то не было дома-то. Да она просила.

Тоже семена просят засыпать. Она и сказала так: «Айда-те с описью. Ищите. Чё найдете — все ваше будет. Засыпайте».

А я испугалась здорово. У нас был «кулацкой» сундук двухаршинной стоял. Да овечка заколота была. Овечек не давали колоть-то тогда. Строго было, велели сдавать всех государству... Я, мол, как будут с обыском, дак найдут. Скажут, что откуда это все.

Через дорогу тут Семен Васильевич жил. Так он ведь из батраков вовсе. А поставил себе домик, так его раскулачили. Кому-то видно понравился этот дом — красивый такой, да ладный сделал. Он всю жизнь плотничал на других.

Когда его раскулачили, так оне притащили сундук-от к нам, да которо чё так-ту из рухляди потаскали. Чтоб чужим-то не досталось. Потом их увезли куды-то...

НИ ЧЁ НЕ ЧУЮ

На следующую ночь я пробудилась, а на полу спала с ребятёшками-те. Меня трясет всю. Я встала. Отец-от на пече спал. Я говорю: «Ну-ко,пусти меня, я чё-то замерзла здорово».

Он говорит: «Чё, на улицу ходила?»

Я, мол, кого — на улицу. Так.

Он говорит: «Да не замерзла ты. Тебя это, наверно, подхватила опять «подруга». Лихоманка эта». (Малярия видно была у меня).

Вот это стали утром-то. Я ничего не слышу. У меня заложило уши-те. Я пошла к нашим-то, к бабушке Софье. Марина, покойница, баню топит. А оне чай пьют. Я пришла. Здравствуйте. Приятно кушать.

Оне — садись с нами чай пить.

Я говорю: «Спасибо».

И села на лавку. Сижу. А кума-то Марина зашла, а я не вижу её. Не чую дак. Она поздоровалась со мной, а я сижу себе, не обращаю на неё никакого внимания. Оне захохотали все. Бабушка Софья говорит, что надо мной ведь хохочут.

Я, мол, да почто надо мной-ту. Мол, Марина-то здороваётся со мной, а я не отвечаю ей.

Я и грянула реветь. Да рассказывать. А оне опять успокаивать меня стали.

— Ну дак чё ты реवेशь? У тебя ведь это буди чё-нибудь так. Отойдет поди.

Потом к тетке Надежде пришла. Тоже реву. Ну никак не чую. Сейчас вон 80 годов уж мне скоро, а маленько все-равно слышу. А тогда вот к самому уху — ну что есть никак не чую.

Пошла, купила бутылку вина (водку тогда тоже вином звали). Наклала туды троелистки. Корней. Поставила на печь. Стала принимать по ложке.

Отец-то тогда в Челябинск уехал. Бурка свез. Продал за 300 руб. Купил

опять кобылешку каку-то за сотню что-ли. Приехал домой-ту. Сидит на пече, а девки сидят прядут вокруг стола-то.

А я на полатах лежу. Говорю: «Отец, а у меня отошли ведь уши-те. Он: «Ну?»»

— Вот, слышу, как девки вон жвак жуют. Здорово шелкат. Я слышу. А то ведь вовсе никого не слышала. Вот эта бутылка с троелисткой меня и спасла. Помогла мне.

ОТЕЦ ПЬЯНОЙ

Баба Дуня, расскажи, как вы с дедушкой-то поженились. С дедом-то Семеном как жили, — спрашиваю я.

— Тьфу, — вставляет Прасковья. — Ты тоже как Галя, сноха наша. Одинава сидят они с бабушкой на завалинке. Галя-та и спрашивает: «Баба Дуня, так неужели вы с дедом не влюблялись?»

— Ну, дак что есть смеху было. Ты тоже не бассе Гали-то, — смеется тетка. А баба Дуня, не обращая внимания на наши разговоры, вспоминает о своем:

— Вот одинова отец пьяной пришел. Заходит в избу: «Где у меня Серьга. Я счас убью!»

Я говорю, что его нету дома-та. А отец-то с топором зашел. Да как по порогу-ту рубанул.

Я, мол, да ты чё сдурел ли чё ли?

Девчошки у меня все по за-ему да все побежали. Выбежали. Я тоже выскочила. Давай их обратно загонять.

А Тася убежала к Жукову. Жуков приходит. А мы сидим с самим-то за столом. Спокойно все.

Зашел и спрашивает: «Ну, чё у вас тут?»

Я говорю: «Ни чё».

— А чё Тася-та ко мне прибежала?

Отец-то обернулся. «А, Михаил, садись давай».

Вот сели. Давай разговаривать. Как ни в чем не бывало.

ЗА МЕРТВОГО ЗАМУЖ

Когда сам-от у меня умер, Настасья поехала в сельсовет справку брать, а ей её не дают без свидетельства о браке. Там говорят, что надо искать свидетельство-то, а некогда искать-то. Чё делать? Она айда в Уксянку, в архив.



Поехали с Жуковым. Он грамотный мужик был. В райсобес, да в ЗАГС. Но повторно не дают. Надо опять заявление писать на регистрацию. Она привезла бумажку — от тетрадки листок. На середине написано — заявление. Она приехала и говорит: «Мама, а куда пойдем писать-то заявление-то? Надо тебе заявление писать».

Я говорю: «Куда, как не к Екимовичу. Тоже грамотей у нас был».

Я пришла к Екимовичу. Все документы расклала. Мои, его — отца-то, паспорта и все тутю.

Он все посмотрел и потом спрашивает: «Где венчались, где списывались. В каком году, какое число?»

— 28 января 1914 года, — отвечаю.

Он написал заявление-то да в свой конверт положил. «Айда, тащи на

почту сейчас же».

Я стащила. Через три дня поехала в Шадринск. Приехала, а там женщина говорит, что моего-то письма еще нету. Если вот приташат в 3 часа почту, дак посмотрим там.

Я пошла к Марии, к сестре сходила, в церкву зашла.

Потом опять пошла в ЗАГС-от. Принесли письмо-то...

Оформили свидетельство о браке. У меня сейчас два... Два раза за отца-то взамуж вышла. С мертвым-то еще заставили списаться...

Вот чё творится...

ПРО ДЕДА СЕМЕНА. В ТРУДАРМИИ

Баба Дуня, моя бабушка, накормит меня картовыми шаньгами с молоком и пошлет на улицу. «Иди, — говорит. — Помоги дедку снег из ограды вытаскивать». Я оболоскусь и быстренько на улицу. Дед Семен поставит коробок из ивовых прутьев на деревянные, без единого гвоздя, санки и наполнит его снегом. Он впереди тянет за веревку, а я сзади ему помогаю.

...Мой дед Задорин Семен Никандрович был хороший плотник. Дома ставил, столярничал. Но больше приходилось строить бараки и свинарники...

Когда он что-нибудь мастерил под сараем, табуретку или шкафчик на кухню, я вертелся возле него. Там стоял столярный верстак и инструмент всякий по дереву. Мне нравилось, как из его рубанка, когда строгал, вылетали белые легкие завитушки. Даже пахло то солнечной сосной, то горьковатой осинной, то сладковатой березой. Я подбирал отпиленные чурочки и сооружал из них сказочные замки. Это были мои первые игрушки...

Продолжает рассказ моя мама, — Задорина Анастасия Семеновна:

«Тятя-то у нас в трудармии был в эту войну-то. В отечественную-то. Его в строеву-то не взяли. Кого, старрой дак. А Сережку, брата, на год меня помладше, того забрали на



фронт. Он так и не вернулся. А тятя-та у нас в Каменск-Уральском робил. На Синарской, как тогда говорили. Мама ходила к нему. Кашлял шибко. Ему справку дали, что отпущен на пять дней. Он пошел, тоже пешком. Поезда-те военную технику все везли. Не брали пассажиров-то. Он шел пешком по деревням. Где-то в Песках, ли че ли, его проверили. Тогда здорово проверяли. Всяких дезертиров ловили. А у него никаких документов не было. Его увезли в Шадринск.

А был с ним Николай Платонович. Они вместе были на трудовой-то. Его тоже отпускали домой. Он побыл здесь да пришел опять туда, на работу. А там с него справляют Задорина Семена Никандровича. Нашего-то тятю. На работу требуют. А его нет нигде. Ни дома, ни на работе. И никто не знает где он... Найди попробуй...

Мама-то взяла карточку с тяти-то, засушила сухарей, привязала котомку на санки и айда по деревням-то, искать его. Спрашивать у людей-то. Может, кто его видел, зимой дело-то было. Дошла до Песков. Там ей и сказали, что его увезли в Шадринск, в тюрьму...

А в тюрьме-то оказался один грамотный мужик. Тятя-то попросил его написать письмо в Каменск-Уральский, на работу. Тятя у нас совсем неграмотный был. Правда, счет деньгам знал».

Тут я вспомнил, как дедо Семен помогал мне задачу по арифметике решать. Я в четвертом классе учился. Пошел к деду Семену. Я не знал, что он неграмотный был. Я прочитал ему условия задачи. Он подумал, покрутил ус (у него усы как у Чапаева были). И говорит, вот столько-то будет. Я быстрее в конец учебника заглядываю. Там были ответы на задачи и примеры.

— Все верно! Ответ сходится! Ура! — кричу я. — Правильно решили! Какое первое действие? А, деда?

Он молчит.

— Какое такое действие? — спрашивает он.

— Ну, как решал ты задачу-то? — втолковываю ему.

— Не знаю как, — отвечает он и округляет глаза.

И становится грустным почему-то...

Опять продолжает вспоминать моя мама:

«Написал ему письмо грамотный мужик там, в тюрьме-то. Послали на работу. Приходит ответ, что он был отпущен правильно. Его выпустили. Потом перевели в Свердловск робить-то. Он там на лошади че-то возил. А мама-то в Шадринск съездила. Обращалась в тюрьму. Но ей не сказали, что он там сидит.

В 1946 году тятю-то отпустили домой. Он сильно кашлял до самой смер-

ти... Его вывели после войны-то на группу инвалидности. Он получал пенсию — 32 рубля...

Нас было семь девок. Надо было поднимать всех — кормить, одевать да учить. Тася, Нюра и Маня выучились, а остальные сразу после школы пошли работать».

...Вывезем с дедом снег за ограду. Я забираюсь в коробок и еду довольный.

«Как-то тебе, Леня, — продолжает мама, — дедо лыжи изладил. Красивые. Носки хорошо загнуты. И крепления из ремешков. Ты здорово радовался. Ни у кого таких не было. Тогда ведь не продавали в магазине-то. Только, мол, дедо за них кринку сметаны просит. Я наклала кринку сметаны. Ты понес. Мы тогда в землянке с тобой уже жили. У нас была корова. Тоже в земле конюшня сделана была. Мне тятя помогал сена-та накосить. Да соломой все больше кормили. Только когда отелится корова-то, дак, тогда сеном-то ее подкармливали. Вот так и жили: Бедовали с тобой...».

ПРО СЕРГЕЯ, МАМУ И КАРТОФЕЛЬ

«Потом, когда свою-то избу окаровали, поставили с горем пополам все-таки, мы переехали сюда, в совхоз им. Буденного жить (сейчас уч. Октябрь КП «Красная звезда»).

Ребята сразу не стали учиться. Сережка говорит: «Пойду лучше на гору картошку копать, чем учиться». Ну, че же, хлеба-то мало, дак кого его 500 грамм исть-то? Мало без приварку. Да в Белоярку надо бегать. Семь километров туды, семь обратно. Обувь и лопотинешки худые, — вспоминает баба Дуня. — А на горе была картовь не выкопана. Снегу тогда еще тонко было. Сергей лом возьмет да топор и накопает ведро. Притащит, а я опять ее горячей водой оболую. Сварю им. Ребята у меня наедятся (шесть девок и один парень — Сергей). Семь ртов. Парасковья-то старшая, уже замужем была. Надо чем-то накормить такую ораву. Вот, хорошо наелись, — говорят.

К вечеру Сережка опять пойдет, опять ведро накопает. Вот так и жили на одной картошке, и никто не умер. Все выжили. Все пережили... А весной-то, как начнет проклевываться трава, я ходила по пиканы. Изрублю их в корытце-то и настряпаю из них пельменей, со сметаной-то очень вкусно».

Тут подговаривается моя мама:

«Вот мама с тятей запрягут лошадь, уедут в поле. Вечером приедут привезут пучек — множину. Дадут нам немного. Не враз нам скармливали, а то

за..., — и сама посмеивается... — Спустят эти пучки в яму, а там лед, холодно в яме-то. Можно все хранить летом. Тогда не было холодильников-то. Потом достают эти пучки понемногу и кормят нас. Всяку траву ели.

В войну-то все больше из крапивы суп варили».

Вот на витаминах-то и выжили, — подхватываю я. — Поэтому и не болеете. Крепкие. Не то что мы — атомная дохлятина... Чуть дунуло — уже простыли. То одно болит, то другое... Дает знать «челябинский Чернобыль...»

— Вы теперь в помещении сидите, работаете, — продолжает мама.

— А мы на вольном воздухе робили. Как поворочаешь, поросячье-то г... на ферме-то. Некогда болеть-то было. Война шла. Все одни бабешки на себе вытянули. Ой, не приведи, Господи, больше никому такое испытать. Ревели да робили... А куда деваться. Некуда... — Мама затихает, пригорюнивается, подперев голову рукой и съезживается вся, становясь какой-то маленькой. Будто той девчонкой-подростком в тяжелом 1941 году...

Рассказывает баба Дуня:

«Настасья, твоя-то мать, Леня, в ту пору как-то за коровами начинала ходить. Она их кормила ночью-то. На коровах тогда боронили. Придет домой: «Мама, айда со мной. Вот тут на лугу попасем маленько. Хоть до 11 часов вечера. Темнаться начнет. Пойду с ней. Попасем. Потом пригоним их. Коровы улягутся около конного-то. Она там останется, поить их. А я домой пойду».

Бабушка закашлялась, устала, видимо. Тут я про картошку вспомнил. Как-то по весне перекапывали с мамой огород. Она увидела гнилую картофелину, перезимовавшую в земле, прошлогоднюю, уже разложившуюся всю. Мама бережно собрала её и с радостным придыханием говорит: «Смотри-ко, Леня, мы с тобой картовку оставили. Осенью-то. Не выкопали. Я вроде хорошо в гнездах-то выскребала. Надо будет собирать, если еще найдем, да испечь алябушки из мороженой-то картошки. Ты не забыл эту еду-то? Помнишь, нет?»

— Как же! Конечно, помню. Тогда они здорово вкусные казались... Особенно с простоквашей. Просто объеденье! Только сейчас, мама, я почему-то не хочу этого гнилья...

— Ну, че ты, Леня, какое это гнилье. А я обязательно сегодня попеку. Они такие вкусные, эти лепешки из мороженой картошки! Некоторые в те голодные, военные годы их так полюбили, что и потом после войны отдавали за них настоящий хлеб. Вот... А я испеку. Попробую. И вспомню все...»

И она стала собирать в кучку полусгнившие развалившиеся серогрязные картофелины.



«...Тятя у нас робил на строительстве, — вспоминает дальше моя мама. — Он строил на второй ферме свинарники. Туда в Уралку-то ехать. Там тоже свиней выращивали. Да бараки строил. Я на свинарнике работала. А в бараках-то мы жили. Вечерами я училась на гармони играть на двухрядке, на Сережкиной. Тятя у нас тоже умел на ней играть. Осенью-то Сергей должен был домой прийти, а тут война началась. Он в окружении был под Ленинградом. Раненый был. Его вывезли, подлечили. Потом выгучили на лейтенанта и опять на войну. На защиту Сталинграда. Бросили в это пекло. Так и не вернулся... В 1943 году пришло известие о смерти. Он продаттестат еще раньше послал маме. Его уже не было, а долго деньги-то ей все приходили. Мама его всю жизнь ждала...

...Я сначала училась играть на гармони-то, на однорядке. Вот это я привяжу тюрочки от ниток между пальцев-то, чтобы через лад научиться ступать. Но так и не могла научиться на этой. А вот на двухрядке научилась «улучную» играть.



«Ягодиночка моя,
Сорока белобокая.
Раньше я ходил к тебе,
Теперь — гора высокая...

Ох, девочки, война, война
Идет аж до Урала.
Ох, девочки, весна, весна,
И молодость пропала...»

Отложив балалайку, мама рассказывает дальше:

— Мы все в войну-то больше с балалайками холостовали. Многие тогда умели играть на балалайке. И частушек знали без счету. Сначала я научилась играть, потом Тася. Она тоже хорошо играет и поет. У ней муж Иван Петрович Гуляев из Кабанья тоже здорово играет. Он всю войну прошел, с первого до последнего дня. Сейчас они в Свердловске живут.

— Да, дядя Ваня у нас молодец! — подтверждаю мамины слова.

— Я очень люблю его слушать, как он играет на балалайке и поет частушки, когда приезжает к нам в гости. Вот его любимые частушки:

...Ох, война, война, война,
Она меня обидела.
Она заставила любить
Кого я ненавидела.
Мы с твоим-то отцом, Леня, там
и познакомились. На второй-то
ферме. Он раненый пришел с даль-
невосточного фронта. С год всего-
то пожил с ним. Потом, в 1944
году, ты родился...»

Тут мама сняла со стены старенькую балалайку и, подстроив три струны, уверенно и звонко заиграла.

Какой-то тугой комок подступил к горлу... Отчего-то перехватило дыхание и невольно начало затягивать глаза мутной пленкой...

Мама, которой уже семьдесят пять лет, пронзительно-надрывно чистым голосом запела:

Эх, заиграла шестиструнка,
Эх, запел парнишка я,
Эх, все четыре мои шмары
Да, заглядели да на меня.
Эх, брат, забрели, брат, забрели,
Наши головы с тобой,
Эх, остались, брат, остались
Наши милочки с тобой...
Эх, задушевного не стало,
При печали дом стоит.
Эх, два окошка да на дорожку,
Не в которо да не глядит...
Эх, скоро я не запою,
Скоро не услышите.
Эх, скоро здесь меня не будет
Тяжело завздышите...

Моя мама продолжает рассказывать:

— У нас еще Нюра здорово хорошо играла на балалайке. А вот Шура, Маня да Валя так и не научились.

Тогда у многих ребят были гармони. У нас Сережка шибко хорошо играл. Потом после войны-то че-то гармонистов мало стало. Все, видно, на войне остались...

А сейчас и вовсе редко их. Был в нашей задоринской породе один замечательный гармонист. Это Михаил Петрович Задорин. Последнее время он на участке «Фрунзе» жил. Это тятин племянник. Вот уж играл так играл. Я такого больше никогда не слыхала. У него гармонь-то как будто сама слова-то выговаривала. Ревела будто. Ох, как заиграет «улочную», то мужики начинали рубахи рвать на себе. Аж всю душу наизнанку, кажется, выворачивает его-то игра. А «подпляску» зачнет, дак бабы не могут устоять. Ноги сами в пляс просятся. Вот это был гармонист!

«Гармониста я любила,
Гармониста тешила,
Гармонисту на плечо...
Сама гармошку вешала...
Гармонист, гармонист,
В кухне поварешка.
Не бывать тебе на моде
Кабы не гармошка...

Эх, матаня, ты кудерек,
Я не сам тебя завлек,
Эх, ты ко мне ластилася,
Рядышком садилася...
Эх, матаня, встань поране,
Вымой лавочку с песком.
Повезут меня в солдаты,
Ты заплачешь голоском...
Скоро, скоро нас забреют,
Скоро, скоро увезут.
По шинелочке оденут,
По винтовочке дадут.

«...Сейчас че не жить-то, — подговорила моя тетка Прасковья Семеновна — старшая в роду Задориных. Она узнала, что я приехал и пришла в гости. — Сейчас только жизнь-та и начинается... Дали всем волю! Живи! Да только работать-то отучили. Никто не хочет. Все в спекуляцию кинулись... Все норовят как-то бы урвать да хапнуть у кого-то другого. Даже у соседа или у государства... Только вот у кого власть-та, то только те и живут сейчас. Все «прихватизируют» — машины да квартиры не по одной... А мы как были нищета, так и остались ею...».

— Хотя государство тоже не отстает, хапает... Аннулировало сбережения у работяг, кто потом и кровью зарабатывал рублишки-то, от себя отрывал, от детей... Не доедал...» — добавляю свои соображения.

— Нам уж умирать скоро... — продолжает тетка Прасковья. — Да Бог смерти не дает. Мы уж изробились все на свинарниках-то. Да состарились. Только и знали, что робили и робили. Особенно в войну досталось... Вся война на бабах да на подростках выиграна. Всю страну кормили...

После войны-то мало мужиков осталось. У меня вон Иван раненый пришел да вскоре умер. Я опять одна с ребятишками-те осталась. Многие мужики по городам разъехались. Вот мы, бабешки, и тянули опять лямку-то. Горбатились... В колхозах-то за одни палочки робили.

Вот детоньки, для вас, для будущих поколений мы старались робили в войну-то... Растили вас да учили.

Вон, Леня, мать-ту у тебя медалью после войны-то наградили — за блестящий труд в Великой Отечественной войне! Она всю мужицкую работу переробила в совхозе-то. И не только в войну. Всю жизнь совхозу отдала. Хорошо, что ты у бабы с дедом обитался. А так-ту чё бы из тебя вышло? Мать-та — день и ночь на работе... А выйдет человек на пенсию, его и забы-

ли... Чего привезут в магазин — вначале рабочим. А пенсионеры вроде не рабочие были. Все здоровье совхозу отдали. Сейчас руки, ноги болят. Вот такие дела...

ЮБИЛЕЙ

Утро прохладное, осеннее. Идут рабочие на работу. Пожилой, сутулый, с глубокими морщинами и впалыми щеками мужчина объявляет торжественно-гордо своим товарищам: «У меня юбилей скоро! 50 лет рабочего стажа! Целых полвека тружусь!». Кто-то не поверил и подначивает: «Не загибай на холодно-то».

— Да, какой резон мне врать-то, — не унимается юбиляр. А кто-то ехидно-скептически: «Может, еще 50 лет отмантулишь, а, дядя? Что тебе делается, раз ты такой работающий? Видимо, ты из тех, из закаленных комсомольцев?».

Старый рабочий замолкает, опешив. И после некоторого замешательства тихо отвечает: «Да, проработаю, — проговаривая слова будто про себя, а произносит их вслух и прислушивается к звукам своего голоса как к чему-то потустороннему... слова звучат из какой-то невероятно глубокой тьмы и дали, что становится не по себе. По спине пробегает холод мурашками. Передернув плечами от осенней утренней прохлады, ветеран будто стряхивает с себя холод и темноту далеких видений и продолжает: «Не верите, что у меня 50 лет стажу? А я говорю — да, пятьдесят! Я с десяти лет пошел работать-то. Раньше рано начинали работать-то, не то, что нынче. Уж в 10 лет плуг держал. А выглядел не по годам рослым. А потом уж пошло и пошло. Все переробили... Особенно в войну... Одни бабы да пацаны остались дак».

Как-то в уборочную хлеб возили на жеребцах в Шадринск. Мне нагрузили на подводу-то, видно, многовато мешков-то. Ну, и передок у телеги раздавило... Передние-то колеса лопнули. Че делать? Надо, — думаю, — как-то бы дотянуть до Верхней Полевой, что у самого города. А то не доехать до элеватора-то. Да там, по булыжникам-то, по улице Ждановой и вовсе колеса-то растрясет. Развалятся к чертовой матери. К едрене-фене...».

Мужчина-юбиляр тряхнул головой в такт последним словам и ухмыльнулся про себя, продолжая вспоминать: «Доехал я кое-как до Полевой-то. Побежал к кузнецу. Так и так, говорю: колеса раздавило у телеги».

... Ночью прибегает на квартиру, где я остановился, ихняя техничка: «Айда, поезжай! Колеса твои готовы!».

А времени два часа ночи. Темень. Встаю. Надо запрягать... Война идет дак... Не считались ни с чем».

Ветеран долго молчит. Потом с жаром заговаривает вновь: «А сейчас мы разве робим? Да так, болтаемся ходим больше. Одно название — работа. А вот бы мешки-то поворожал, так сказал бы небось: «Ох, и поработал я сегодня. Аж все кости болят...».

После продолжительной паузы ветеран заканчивает свой рассказ и умолкает. Тяжело вздохнув, он выпускает из себя весь воздух, отчего, кажется, становится ниже ростом и еще сутулее прежнего. Он произносит самые тяжелые для него слова: «А теперь вот надо бы как-то до пенсии дотянуть...

Не знаю, выдюжу, нет?».

ДЯДЯ ТОЛЯ

Мне тогда двенадцать годов было, когда война-то началась, — вспоминает Анатолий Лукич. — Конечно сразу всех нас, подростков, заставили работать. Одни бабы остались в деревне-то. Да мы — пацаны сопливые...».

Дядя Толя показывает мне корочки. Беру, читаю: «От имени Президиума Верховного Совета СССР медаль вручена 24 января 1994 года № 14. Глава администрации — Лукьянов».

А в 1994 году уже не существовало не только Верховного Совета СССР, который был упразднен с распадом СССР, но и Российского, недавно расстрелянного парламента...

Анатолий Лукич со вздохом продолжает высказывать свои мысли: «Тогда, сразу после войны», надо нам было давать медали-то, когда мы, подростки с бабами, кормили всю страну. И солдат на фронте, и заводы, и всяких бюрократов...

А сейчас на хрена они мне-то, корочки и медаль... Вот дали проехать на автобусе по городу задаром и все. Видно, 100 рублей я заработал за всю-то войну... Это 10 копеек, если на хрущевские-то перевести. Выходит так... Спасибо родному правительству...».

Читаю удостоверение: «За доблестный и самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны».

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 июня 1945 года награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (На лицевой стороне медали профиль Сталина).

ХЛЕБ УБИРАЛИ

— Че мы робили тогда? Да всяко место. Че заставят, то и делаешь. Пас жеребят на коне. От деревни километров восемь будет. Там еще стан стоял. В полях-то были станы излажены. Четыре всего-то. На стану амбары, теп-

лушки были из соснового леса срублены. Навесы, тока для хранения зерна были крытые соломой. Зимой-то зерно загоняли в амбары — таскали его туда мешками или транспортером загоняли.

На станах-то были под навесами веялки, решета для провеивания. А молотили зерно сложками в поле. Так молотилка называлась. Ею подгоняли к скирде со снопами. Вилами поднимают снопы-те, а наверху молотилка, там человек на площадке стоит и туды в молотилку-то снопы сует. В барабан-от. А зерно идет вниз, в кучу. Из кучи нагребали и возили на ток, под навесы. Возили и на лошадях, а больше — на быках. Там весы стояли. Свешают и потом разгружают. В бричках-бестарках была сбоку дырка излажена с задвижкой. Откроешь её и выгружаешь — зерно-то. А в мешках-то опять на телегах возили. Даже руки обмораживали, бывало. Молотили всегда зимой. А морозы тогда здорово крепкие, в войну-то, были. Мешок-то не возьмешь в рукавицах. Приходилось голыми руками таскать мешки-то с зерном. Все на пупке...

Осенью опять от комбайна возили в бричках зерно-то. Или на телегах в мешках. Едешь за комбайном. Сколь нагребет мешков. Штук десять, может. Или на полосе мешки оставит. Подъезжаешь и берешь их на пупок... грузишь. А тебе 12—13 лет.

На всем переробили: и на лошадях, и на быках, и на коровах. А сейчас такая техника, и голод в России-матушке. Заставить бы этих толстопузых мешки ворочать, дак че бы они запели, интересно... Всю страну растащили, разворовали...

А в войну-то солоmeshки возьмешь если, и то скажут — украл. Сожгут лучше, чем колхознику дать. Все судом страшали чуть что. Сена косить себе не разрешали. А не вышел на работу подросток, родителям скажут, что вон твой сын не пошел на работу. И за это не разрешат твою корову выпускать в стадо, пасти. Не вышел на работу, то и пусть твоя корова сидит дома. Знали на чем отыграться — пусть твоя корова без корму будет и без молока... Вот и бежишь на работу-то как напунуженный... День и ночь работали.

Война идет, дак...

Едешь зерно сдавать в район, в «глубинку». Так звали государственные закрома Родины. Амбары стоят высокие. Двухэтажные. Вот туды и лезешь на второй этаж. С мешком-то зерна... По лестнице.

Обратно приедешь на заимку. Поставишь лошадь к кормушке, прямо в упряжке. Отдохнешь маленько. Пока лошадь ест... Потом скирдовать, ночью-то, едешь. По пашне тебя на снопах-то сильно качает. А ты все равно дремлешь. Спать шибко охота. Ночь, дак. Женщины днем навяжут на поле сно-

пов-то. Составят их кучкой штук по десять. А на верх один, чтобы остальные не намочило. Вот ночью-то тебе нагрузят на телегу. Как кто? Ну, бабы работали, девки, пацаны. А ты везешь снопы в скирду. Подаетшь вилами — двухрожки были. А наверху человек, обычно баба постарше, кто умеет складывать снопы в скирду. Сперва широко, а потом все уже и уже пойдет. Потом высоко подавать-то. Котора баба легкой свяжет сноп, а котора заворотит такой, что поднять не можешь.

Потом стали комбайнами молотить. К скирде подгонят комбайн «Сталинец». Тоже зимой молотили. На сложки-молотилки тяжело подавать-то. А особенно, когда ветрище дует. А когда много бросишь в барабан, дак заглыхают даже. Отдохнешь, пока выковыриваешь. И народ отдохнет. Похохо-чем. Молодежь одна, дак. Зимой-то у костра грелись. Солому жгли.

Тогда зерно-то хороше здорово было. Желто зерно-то. Хорошее, чистое. И семена хорошие были. Сейчас все нарушено. Птичек всяких: тетеревов, рябчиков и перепелок было табунами. Все нарушили. Всю природу. Химней-то. Тучами было птицы всякой. Бывало, на скирду петель поставишь. Приходишь — там глухарь попал. Или на мякину поставишь. Они любят в этих отходах-то, в шелухе-то рыться. Зерно находят там. Пешком идут из лесу-то. Тропку натопчут и идут прямо к мякине. Роются, зерно ищут. Кормятся зимой-то. Возьмешь из лошадиного хвоста волоса надергаешь, петли наделаешь, шнур натянешь на две палочки. И за шнур привяжешь эти петли. Поставишь. Они роются на мякине-то и попадают в петли. На суп их потом. Вкусные.

КОПЕШКА СЕНА

— Уж глубокая осень была. Ведро стояло, сухо. Недалеко от стана береза большущая была повалена. Я рассказал отцу, что вокруг все выкошено и сметано в зароды. Они далеконокко стоят. А вокруг сваленой-то березы трава. А он говорит: «Коси. Вычисти да и выкашивай». А в войну-то себе не давали косить-то. Все больше соломой кормили. А я решил выкосить под березой-то. Приехал с топором, сучки обрубил, вытаскал их. Широкая такая береза была. Местечка-то дивно оказалось. Я накосил там копну целую, с воз хороший. Сложить на дровни, дак добрый воз будет. Дивно накосилось. Надо чем-то кормить коровешку-то. Соломешки возьмешь. Говорят — украл. Сожгут лучше. Так и сено тоже. До глубокой осени никому не давали косить. Бригадир как-то проезжал да увидел с дороги. Копна сена стоит. Дознался чья. Отцу говорит: «Не тронь. Если увезешь, судить будем». Лучше пусть сгниет, но не тронь.

Местные власти так распоряжались. Что ли Сталин запрещал для своих коров сено косить?.

Бригадир сказал., чтоб везли копешку в казну. В колхозный стог.

Все тогда сдавали государству: молоко сдай, яйца сдай, шерсть сдай, полторы шкуры овечьих сдай, картошку сдай, теленка сдай, поросенка сдай. Курец нету — покупай яйца и сдавай. Обдирали до костей... Один скелет от колхозника-то оставался...

В магазине сборщик был. Но все сами сдавали. Обязательство принесут: государству сдай то-то. И фамилии колхозников всех. Распишешься. А не будешь сдавать — штраф. Потом все равно заставят сдать.

Потом на заем заставили подписываться. Не подпишешь — держать в конторе — хоть ночь, хоть день. Пока не подпишешь. На тыщу рублей, не отпускают никуда. Всяко место было. Все пережили...

ВОЛКИ

— В войну-то волков здесь много было. Даже с гривами, здоровенные. На ходу рвали горло у скота. Война была, дак. Вот они и пришли на Урал лесами от войны-то. Боялись, видно, где стреляют.

Я пас жеребят годовалых. Возле одного стана. Волки-то мне дорогу перешли, а не напали. Сука-то, волчица, видимо, бегалась — в охоте была. Так за ней штук пять бежало волков-то, с гривами и здоровые. У меня с собой ружьишко было. Они не задели меня. Веревочкой пересекли дорогу и скрылись в лесу. Я потом жеребят-то завернул да дальше угнал, на гороховое поле.

А тут один пас трехгодовалых жеребят-то. На заимке. Вот он в субботу уехал в баню, в деревню. Жеребята в загоне одни. Волки-то и пришли. Каравулили что ли, как он уедет. Жеребята сломали прясло и бежать. Одного жеребенка все-таки задрали волки. Голова да ноги остались... Ребра еще. Брюшина далеко оттащена. У лесу у самого. Долго они ходили, доседали его.

Лошадь-ту они за хвост ловят. Подцепятся и тащатся. Может, не один схватит еще. Потом отпускают. Лошадь-та и падает. Тут вся стая налетает и за горло хватает. Глотку перегрызают и потрошат. Бабы шибко волков-то боялись. Огонь брали — фонарь или поджигали веревку или паклю.

Раз председатель на ходке ехал. Видит — волки телят гоняют. Он подъезжает, а волки-то на его глазах и на ходу горло у теленка перегрызают. Зубами рвут. Клыки здоровенные. Председатель кричит, а они не боятся, внимания не обращают. Хоть одного да все равно зарежут. Они голодные-то злые шибко были.

А овечек они на загорбок бросают и тащат. Поймают овечку за шею — и на загривок. На себя забросит и везет свою добычу волчице или волчатам. Бывает, волки заскочат к овечкам в загон и давай их там гонять. Утром смотрят — волки были. Уташат-то всего двух, трех, до пяти. Смотря какая стая была. Бывает и сторож проснется, закричит. А толку? Овечки в один угол забьются. Сторож зашумит, забрякает. А потом смотрят — штук пятнадцать овечек лежат мертвые. С перерезанным горлом. Вот че творилось.

МЫ ТОГДА ПОД ВАРШАВОЙ СТОЯЛИ

Как-то накануне Дня Победы приехали к нам тесть с тещей. «Зовите, — говорят, сватью Прасковью». Это моя тетка, пенсионерка, солдатская вдова.

Сбегали, пригласили.

Идет, на голове яркий, праздничный, цветастый платок. Заходит, здоровается со сватовьями, целуется троекратно.

— Ну, зять, неча брать, угощай нас. Мы что ли в окошко глядеть пришли к тебе.

Бегу на кухню, давай носить все съестное на стол. Принес стулья, табуретки. Всех приглашаю за стол.

Тетка Прасковья встает: «Ну, давайте, сватьюшка со сватом, выпьем с вами за встречу, за Победу, да за мужа моего, погибшего от пули фашистской, ну и за детушек наших — за опору на старости лет».

Пока она говорила, мой тесть уже опростал свою стопку, закусил и сидел, как бы не зная, что дальше делать. И стал рассказывать о своей фронтовой жизни. Война — его вечная тема. Память оживает — не дает покоя, ищет выхода. Он был призван в первые дни войны. Испытал и тяжкое время отступления, и голод, и холод и радость освобождения родной земли от фашистов.

— Ну и вот. Фронт в 25 км от нас находился. А в Варшаве-то немец был. Мы тогда под Варшавой стояли. Наступление остановилось. Народу не хватало, выдохлись мы, четвертый год война шла.

Я в то время в авиационной части шофером служил. Меня то туда, то сюда с грузом пошлют. Потряслись мы со своим «захаркой» по фронтовым дорогам. Это ЗИС-5 мы так называли. Я до войны шофером работал, только на полторке. Ну вот, едешь с грузом и не знаешь, то ли живой будешь, то ли нет. То мины опасайся, то артобстрел, а то и немецкий самолет за тобой увяжется. Фронт же рядом.

А тут как-то назначают меня старшим колонны "месячников". Я до войны около 10 лет шоферского стажу имел. Машину знаю. А этих поучат — и на фронт. Ох, я помучился с ними! Что-нибудь да случится. Смотрю — опять машина стоит. Подхожу — он в кабине сидит.

В чем дело? — спрашиваю. Почему стоишь?

А он только плечами подергивает, — не знаю, мол.

— Ах, ты, едри тебя через колено, — поднялся я на него.

— Да ты вылезь из кабины-то, да хоть посмотри что случилось?

И до того меня это взбесило, что он в кабине-то посиживает. Ну готов прибить даже, чуть за пистолет не схватился.

Я-то уж в годах был, на войну взят в 36 лет, дома у меня мал-мала меньше остались. Старшего в 44-м тоже призвали... Такой же вот был...

— Давай, — говорю, — вылазь из кабины-то, да открывай капот, смотреть будем. Покопались. Вместе быстрее сделали. Поехали дальше.

Нет, одному-то намного легче. Один хоть куда поеду. Хоть на фронт, хоть в тыл, а с ними, с этой «зеленью» тяжеловато пришлось...

Раз дали ящик везти. Забросили в кузов, я и поехал. Отъехал 100 м. — речка, а мост взорван. Давай искать объезд. Ну и поколесил я тогда. Фронт рядом. Опасно. Заберешься куда не надо. Все-таки нашел переезд. Сдал груз. Я даже не знаю, что в этом ящике было, весь брезентом замотан был.

Еду, значит, обратно. Смотрю — впереди легковушка стоит. Я остановился. Да это же наша! Подхожу: «Здравия желаю, товарищ подполковник!»

А-а... Это который молодежь обучал.

— Так точно, — говорю.

— А ну-ка, Сычев, подцепи нас, а то самим-то нам не выбраться. Да и к вечеру дело. Какой еще оказии ждать-дождаться.

— Мотор вот застучал, подшипники полетели, — с горечью произнес его шофер.

Слышим, звук, на самолет похоже. Никак немец нас заметил. Мы от машины бегом. Тут подполковник споткнулся, ну я тоже на брюхо, подполз к нему и стал помогать, чтоб в воронку перебраться. Только свалились мы в яму, как по бровке только фонтанчики от пуль забрызгали. Подождали, разрыва не слышать, да и звук стал удаляться. Вылезли мы, отряхнулись, завели мою машину. Ну, подцепил я их и давай кочегарить, газку подбрасывать своему «захару». Приезжаю в часть, ребятам своим рассказываю, как я эту букашку-легковушку на хвосте припер. Они хохочут.

— Слушай, тебе же сейчас отпуск запросто заполучить, — раздались голоса. — Не теряй времени, жми быстрее к подполковнику.

Я вначале отнекивался, а потом думаю, ведь не ударит, надо сходить, а вдруг повезет.

Захожу, он за столом сидит.

— Товарищ подполковник, разрешите, — говорю, — в отпуск съездить.

Он голову поднял, трихнул ею.

Я опять за свое. «Пока стоим, я бы и съездил. Четыре года семью не видел, как там сама-то с такой оравой. Пятеро у меня их».

Подполковник опустил голову, будто не в силах ее держать, поднял снова, посмотрел на меня усталыми глазами:

— Ты. Сычев, службу свою знаешь. воюешь исправно, нарушений за тобой тоже никаких нет. Разрешу я тебе, только без происшествий и опозданий. Понял? Чтоб все как положено. Приедешь — доложишь.

Взял бумагу и пишет в левом углу. «Спасибо, товарищ подполковник, — говорю. — Разрешите идти?»

Вышел. Ребята вырывают: «Дай, посмотреть? Правда что ли едешь? Слышу, читают: «Отпустить в отпуск по прибытии пополнения». А-а-а. Мы думали, ты сейчас едешь. Таких-то вон полроты. Ты проси, чтоб тебя сейчас отпустил. Иди еще, пока подполковник не уснул», — и подталкивают меня.

Думаю, где наша не пропадала. Захожу второй раз. Набрал воздуха побольше и единым духом выпалил: «Товарищ подполковник, пополнение-то приедет, тогда, ясное дело, в наступление пойдем. Какой тогда отпуск. Мне бы сейчас съездить, пока тихо».

Подаю ему бумагу свою. Он взял ее, сидит. Вижу, что недоволен, да и в сон его клонит. А я ног под собой не чувую. Сидел, сидел он. Будто вечность прошла. Отрывисто зачеркнул прежнее, в другом углу пишет.

Уж не знаю, что и думать. Выскочил. Сам не свой, читаю, руки дрожат: «Отпустить сроком на один месяц с такого-то...»

Меня в жар бросило. Вытер лоб — мокрый. Стою и думаю: «Так ведь мало мне месяца-то. Не доеду до Шадринска — обратно заворачиваться».

Ну хогь как тут крути-верти, а придется третий раз заходить. Вот тут-то я и трухнул... Испугался...

— А, да черт с ним, с этим отпуском, думаю. Четыре года провоевал, как-нибудь доживу до Победы и без него. Немного осталось. До Берлина-то вон рукой подать.

Да больно близко счастье-то очутилось. Вот он отпуск-то у меня в руках.

А, была, не была. Двум смертям не бывать, одной не миновать. А ли я не фронтовик... Стучусь еще раз. Подхожу тихонько. Подполковник не шевелится. Боюсь его разбудить, а обращаться надо, уж раз зашел. Тихо так го-

ворю: «Товарищ подполковник, это опять я. Сычев, не хватит мне месяца-то, не доехать до дому... вертаться обратно придется».

Вскинул он голову, куда и весь сон прошел. Смотрит на меня с прищуром, весь вперед подался:

«Ты что это, солдат, смеешься надо мной, что ли? Вот навязался, — да как стукнет кулаком по столу. — Ну-ка, кругом, шаго-ом, мм-м-арш! А то и этого не получишь. И чтоб я тебя здесь больше не видел. Понял?»

— Так точно, — проглотил я и, брякнув сапогами, пулей выскочил вон.

Ехать, так ехать. Собираться надо. У солдата, како собиранье — на попутку и на вокзал.

Приезжаю домой. Что тут было... Родню созвали, выпили со встречи... Давай по хозяйству управляться. День живу, другой, а на третий уж обратно надо. Время военное, строго спрашивали за опоздание.

Вот так и отгостил. То ли был дома, то ли нет. Часто эти дни вспоминаю — будто во сне они приснились...

А под Варшавой-то мы тогда почти шесть месяцев стояли. Готовились к последнему удару по фашистскому логову.

А домой-ту насовсем я вернулся уже в 1946 году. Нас из Европы-то на Дальний Восток турнули. Возле дома провезли... На войну с Японией. Но недолго повоевали. Меня ни разу не ранило. Только землей засыпало раз. Сержант сапог увидел. Откопали.

После войны всю жизнь тоже шофером проработал в своей деревне. Всего насмотрелся...

ЦВЕТЫ ВДОВАМ

Приехал я к маме как-то на 9 Мая. Как раз огороды вспахали. Пошли садить с ней картошку. Садить не копать. Быстро разбросали. До обеда поправились. Смотрим — тетка Прасковья с дочерью Марией все еще садят. Пошли с мамой к ним. Я взял лопатку. Мы с Машей копаем ямки, а мама с теткой бросают картофелины. Хорошо, когда много помощников. И тут быстро поправились.

Тетка давай на стол собирать. Все-таки праздник сегодня — День Победы! Хоть и не радостный. Пришел ее Иван с войны израненный... Да вскоре и умер. Опять она одна с ребятишками осталась. Но вырастила, выучила, хоть и одна работала.

Отужинали. Праздник отметили. Пошли по домам.

А мне что-то в мозги вдарило. Уже темнеть зачало, а я вспомнил, что за «кирпичным» у нас всегда подснежники росли. И побежал. Не ближе

место да на ночь глядя в лес бежать. Хмель в голове. А про клещей энцефалитных даже и не вспомнил. В наших краях их сильно много по весне бывает. Все наверное отделение заполняется «клещевиками».

Дошел до «кирпичного», с километр примерно. Уже еле различаю полевую дорожку. Чуть не на ощупь иду. А до лесу еще столько же, где подснежники цветут. Это за Понькинской гранью. За большой поляной. Возле омутов на бугре, где мы в детстве с ребятами целыми днями купались в этих холодных и чистых, да глубоких омутах. Разбежишься с крутого берега и ныряешь в эту холодную бездну. А вода чистая, пречистая. Все дно видно, как гальяны и пескари там резвятся. А мы тоже вроде гальянов были. Купались без одежды, голенькие. В лесу никто не видит. Носимся по поляне нагишом, а потом сигаем в воду. Аж обжигает тело от холодной родниковой воды.

Тут, возле этих омутов и цвели по весне подснежники. Я вспомнил детство, цветы и поперся, на ночь глядя... «Дурная башка — говорят, — ногам покою не дает».

Прихожу на эту поляну уж в темноте. Хорошо, что каждый кустик, каждое дерево с детства знаю. Почти наугад иду. Темень...

Какое-то трепетное волнение охватило. Тут должны подснежники цвести. Опустился на колени, стал чуть ли не ползком осматривать этот бугор. Мне уж под пятьдесят.

И точно! Засветились, будто фонарики теплятся, горят слабым внутренним светом. Вот они сердешные! Красавцы пушистые! Стал рвать. Вот еще группа. Вот еще. Уже ничего не вижу кроме цветов. Мгла спустилась на землю. Да еще кругом березы. Неба не видно. Нарвал цветов — окружался. Не знаю в какую сторону идти. Еле сориентировался. Пришел в деревню часа через два. Как слепой иду. Ничего не вижу. Стучу к тетке Прасковье. Они уж закрылись. Спать ложиться собираются.

— Ты это откуда? — спрашивают. Я захожу с цветами.

— Вот, говорю, — решил Вас с праздником поздравить. — С Днем Победы Вас! и подаю им половину. Остальные маме».

— Ты че, сдурел? Небось за «кирпично» сбежал?

— Ага, — говорю. — Туда.

— С ума сошел! — А сами улыбаются и довольные. — Не боишься клещей-то.

— А я и забыл про них.

— Ну, спасибо, Леня... За цветы! За поздравление. Садись, посиди. А мы уж спать собрались.

— Нет, я пойду. До свиданья.

И вышел опять в ночь. Со свету и вовсе черную, черную... Лишь подснежники в руках да россыпь звездной пыли вверху едва светятся в этой кромешной тьме... Будто это были живые души тех, не вернувшихся с войны солдат — наших родных и близких, погибших за нашу непутевую жизнь...

За нашу многострадальную Родину! Слава вам, Сыны Отечества! И вечная Память! Ваши святающиеся души, точно эти подснежники, указывают нам праведный путь в нашей окаянной жизни!

Мы помним о Вас.

ДОЖДАЛАСЬ!

Только когда двигатели запустили, и их свистящий гул заставил думать о происходящем, я, наконец, ясно ощутил, что демобилизован, что лечу домой. Сколько времени я мечтал об этой минуте! Если честно признаться, то все время службы в армии.

Первый год пролетел незаметно, весь в привыканиях к армейскому режиму, в учебных «тревогах» и тренировках. Бывали минуты отдыха или, как отмечалось в распорядке дня, личное время, когда можно немножко помечтать, сыграть в домино или шашки, написать родным и друзьям письмо. О доме вспоминалось как о далекой звезде.

Второй год прошел более спокойнее. Стал втягиваться в службу. Стал сержантом. Но ночные «тревоги» — и учебные, и боевые — не давали выспаться. В то время было напряженно на китайской границе. Мао грозил нам, что мы будем в шинелях встречать 50-летие Октября. И правда, через два года произошла стычка на о. Даманском...

Мне служить оставалось еще один год. Собираясь по вечерам в курилке, уже после отбоя, мы всё чаще и чаще засиживались за полночь, вспоминая о доме, о своих любимых, спорили о новой жизни на гражданке. Сны были продолжением наших разговоров.

И вот всё позади. Я лечу домой!

Можно даже вздремнуть. Нет, не могу. Слишком взволнован... Поднялись выше облаков. Всю жизнь я смотрел на них, на этих «небесных монстров», снизу, а сейчас вот, впервые, сверху. Ослепительное зрелище! Будто летишь над безлюдным снежным простором. Иногда в просветах покажется земля. Или речка блеснет голубенькой змейкой, извивается ниткой дорога, а домики возле нее — крохотные кубики.

Интересно, чувствует ли мама, что я возвращаюсь сегодня из армии? Наверное, чувствует...

Загорелось табло «не курить, пристегнуть поясные ремни».

Ура! Приземляемся! Совсем немного и дома!

...Автобус резво мчится по асфальтированной дороге. За окном мелькают родные места.

— Дома! Уже почти дома!

Сумерки всё плотнее окутывали подорожные колки, стога на пашнях. Люди в автобусе сонно покачивались. Я вспомнил: мама писала мне, что она переехала из «молдавского края», из «саманухи» поближе к центру деревни, к народу, так как все молдаване, отбив срок десятилетней ссылки, поужезали в свою Молдавию. Что маме боязно стало жить около леса-то.

— Ну, вот, вроде подъезжаем, последний поворот пошел — сказал я вслух.

— Да, да, — подтвердила рядом сидящая со мной женщина. — А мать-та твоя уже заждалась тебя, — продолжала она. — Каждый день ходит тебя встречать на остановку. Ездил даже в город, была на вокзале. Много, говорит, демобилизованных видела. И сейчас, наверное, стоит на остановке, ждет...

Впереди замелькали огоньки родной деревеньки. Приехали!..

Автобус остановился. Вот я и дома! Взял чемоданчик. Сердце заколотилось. Вышел из автобуса, огляделся. Глаза, не привыкшие к темноте, ничего не видели.

— Здравствуй, Леня! — услышал я. Передо мной стояла моя тетка Прасковья.

— А где же мама? Что с ней?

— Всё хорошо. Жива, здорова. Только поздно отработалась сегодня. Дома уж наверное. Того и гляди прибежит. Ну, Леня, пойдем домой, а то ты и не знаешь, где теперь твой-то дом.

Только мы успели отойти от остановки несколько шагов, как я увидел, что впереди кто-то бежит нам навстречу.

— Мама!

Я выпустил чемодан, ринулся вперед.

— Сынок, родненький мой!

— Здравствуй, мама! Ну, не плачь... Я же вернулся! Живой...

— Это я от радости, Леня... Давно тебя жду... Каждый день встречаю... Наконец-то приехал! Дождалась!!!

Думала не дожидаться....

— Мама, ну пойдете домой, а то вон тетка Прасковья уже озябла.

Тетка стояла чуть в сторонке. Тоже утирала слезы. Она, может быть, вспомнила своего брата — нашего дядю Сережу, убитого в минувшей войне, под Сталинградом. Или мужа своего — Ивана, который пришел с войны весь израненный, а вскоре и помер... А может сына Виктора, который живет далеко на Севере.

Я взял чемоданчик, и мы пошли с ними, каждый думая об одном и том же, и в то же время о чем-то о своем.

д. Октябрь —

д. В. Полевая

1970—1995.



ДАРЬИН ПОКОС

Повесть

Наконец-то погода установилась. С утра солнышко. Небо чистое. Лишь над самой головой зависла легкая прозрачная облачность.

Дарья подоила корову и согнала ее в пастушню. Времени 7 часов. «Пусть ребята еще поспят немного. Успеют наробиться за день-то — подумала она. — Вчерась вон че они трыщились оба. Особенно Димка надоедал ей: — Баба, а, баба, ну, когда мы на сенокос пойдём?»

А погоды все никак не было. Весь июнь жара несусветная простояла. Все повыгорело. «Ну, — думает Дарья, — не будет нынче травы. Как Буренушку свою я держать буду? Чем кормить-то? Без коровы она не привыкла жить. А при нынешней-то жизни только на корову вся надежда... Да и раньше это же было...»

Наступил июль. Да как начало лить... «Да в день-то не по одному разу. Да с грозами. Гремит да восият. Хоть и сердится Господь на нехристей, а все равно, видно, спохватился, что неладно делает. То совсем ни дождинки не было целый июнь, а то опять начал поливать каждый день. Да все как из ведра льет и льет, не перестает», — размышляла Дарья. Она вначале шибко обрадовалась, что послал, наконец, Бог дождичка. Воды дождевой во всякую посуду назапасала. На стирку и в баню. А он льет и льет беспросветно. Мочит да мочит. Аж три недели подряд. Уж и в яме вода появилась и даже в голбце. Ни одного дня не пройдет, чтоб без дождя. Она уж и не знает куды ей деваться от этой воды. В огороде травища полезла. Ничего такого путнего не растет, ни огурцы, ни помидоры. Холодно им кажется. Одна ботва лезет и лезет. Вон картовник уж полег весь, чуть не с метр вытянулся. Три недели без продыху лило. Сегодня вон второй день как солнышко выглянуло. Уж и забыли как оно греет. Жарко припекает. К вечеру дорожки продуло. Тропинки сухие стали. Валентина Иринку с Димкой привезла в начале июля. Побыла денек, погостила у матери. Вымыла в избе, половики выхлопала. Постирать их на речке не было возможности. Зарядили дожди.

В июне ребята в пионерском лагере отдыхали, комаров кормили. А на июль к бабушке приехали. Помогать бабушке сено косить. У Валентины отпуск должен быть в конце июля. Она сказала матери, что если никуда отдыхать не уедет, тоже поможет на сенокосе. Дарья все удивляется нынешним деткам. «Каку-то моду взяли — все поодиночке отдыхать. Муж в одном месте, жена в другом. Чтоб отдохнуть друг ото дружки что ли?» Не думает она, чтоб Валентина погуливала. В ихней родове сроду екого не бывало.

Василий у Дарьи был раненый на войне, да и работа в колхозе с темна до темна, и по домашнему хозяйству все силы забирала. На гульбу не оставалось. Хотя некоторые находили время...

Валентина рассказывала, что они с Николаем вначале всегда вместе ездили отдыхать. Один раз Николай успел от живой жены на сторону сбежать. Присватался на курорте к одной... Сгульнул ведь паршивец. Рассердилась тогда Валентина не на шутку. Чуть дело до развода не дошло. Долго она его к себе не подпускала... Вот с тех пор и ездят в отпуска поодиночке. Чтоб не видеть, чем там каждый занимается. Может и Валентина с кем-то там знакомится. Вон че нарядов-то набирает с собой. Целый чемодан.

Вот привезла ребят. А сама приедет потом или нет — неизвестно. Некогда ей у матери-то отдыхать. Тут же робить надо, а им отдыхать охота. Николай — этот точно не приедет. Опять загуливает, наверное, на всю катушку. Без присмотра-то. Нравы-то в этих санаториях всегда были шибко свободные.

Посылали как-то Дарью, еще по молодости, за успехи в работе в областной дом отдыха. Насмотрелась она там всякого. Отдыхали с ней в номере разные дамочки. Мужичков прямо в номер приводили, никого не стеснялись. А Дарья уснуть не могла... Так ей стыдно было... Больше она ни на какие курорты в жизни не езживала.

Как-то у них, у этих отдыхающих дамочек все просто было. Один день с одним мужичком, на другой вечер — уже другого ведет. Каждый день у них выпивка. А то компанией целой завалются в номер. То в карты играют до полуночи да выпивают. Потом по номерам расходятся. Уж пенсионерки, а мужиков норовят помоложе отхватить...

Дарья замуж вышла поздно. Война началась, ей было 18 лет. Ее сверстников сразу всех забрали на фронт. С виду она была девка ладная, крепкая. Она работала наравне со всеми взрослыми бабами. И никому в работе не уступала. В войну всякую работу пришлось за мужиков переробить. Один долговязый бригадир (пришедший в самом начале войны по ранению) все пытался ее поприжать в укромном местечке. Не единожды подкатывал да лапал за ее упругие груди. Но получал тут же по заслугам...

То ли Даша очень переживала свой физический недостаток из-за глаза. Левый глаз у нее чуть-чуть косил внутрь. Была она из многодетной семьи, и все заботы о детях — братьях и сестрах (младших) были на ней, да и дома по хозяйству хватало дел. Она поэтому не шибко обращала внимание на парней-подростков. Все они были младше ее, работали вместе в поле или на ферме все военные годы и после.

Правда, был у ней тайный воздыхатель — один паренек, с которым вместе в школе учились. Он сразу же был взят на фронт с первых дней войны. Он так и не узнал, что Даше он нравился. Она ждала его... Но он пропал без вести.

Дарья вышла за Василия через четыре года после войны. Ей тогда было 26 лет уже. Он приехал с фронта весь блестящий, в ремнях и офицерской форме, на груди медали сверкают. Сапоги хромовые гармошкой, начищены до блеска. Правда роста он был небольшого. Чуть-чуть пониже Даши. Волосом чернявый, шевелюра пышная, волнистая. Сам весь загорелый до черноты. Он где-то на Западной Украине до 50-х годов ловил каких-то там бандитов. Пришел раненый. Прихрамывал. Служил в армии шофером. И в колхозе ему сразу дали машину «ЗИС-5». «...Вот опять раздумалась. — спохватилась Дарья. — Лезет в голову всякая всячина. Хоть и сладко спят внучата, а сегодня их придется будить пораньше. Сами вон че просились на сенокос-то. Иришка, та уж в прошлом году попробовала косить. Хоть и нешибко получалось, а все-таки маленько пообвыкла, набралась сноровки. Молодая еще — шестнадцатый год пошел недавно. Худенькая только здорово — одни лытки вместо рук и ног. Деревенских-то сызмальства к работе приучают. Они и растут покрепче». Дарья с вечера квашню поставила. Ночью не раз вставала, примешивала. В четыре-то уж давай стряпать. Печь затопила. Разгорелись сухие щепочки, потом она березовых полешков подбросила. Они лежали у ней под сараем, не намокли. Запотрескивали, запошелкивали, сухие дак. В пятом -то уж светать стало. Солнышко взошло. Печь протопилась. Тесто расстоялось. Она давай все в печь ставить. Когда стала вытаскивать пироги да шаньги с калачиками, напахнуло запашистым хлебным духом. Иришка зашевелила губами сонная, повернулась на другой бок. Она этот хлебный дух бабушкиной стряпни ото всех прочих отличит. Особенно от нынешнего городского. Вот и сегодня ее разбудил этот деревенский хлебный запах. Пахло вкусно, вкусно — и простором осенних зрелых полей, и чистым небом, и травой луговой с лесными дубравами. А самое главное — самой любимой бабушкой. Самой, самой лучшей на свете. Этот запах хлеба, кажется, пропитал бабушку насквозь. Она пахла только хлебом и молоком и ничем больше.

Когда Василия не стало, Дарья все-равно корове не попускалась. И когда Хрущев не давал косить себе, пока не накопишь в колхоз, ни потом — когда стали продавать в столовой колхозное молоко колхозникам. То ли сравнишь свое-то молоко с колхозным — вода-водой. Да морговитая она была. У своей-то Буренушки она тепленькой водой вымечко все промоет дочиста, да по-

лотеньшком-то оботрет. Да покормит корову-то кусочком хлебушка, да уговорит, чтоб все молоко-то спустила ей. А там этими машинами сейчас то не додоят, то передоят. Да и не моют ладом-ту. Все быстрее надо. Не одна ведь корова-то.

Молоко Дарья разлила по стеклянным банкам. Кому трехлитровую, кому литровую на продажу. Что самим поест, да на покос взять. Что на сметану, а потом на маслице и на творог. От ее коровы многие брали молоко. У ней оно густое было, вкусное. Хорошая корова ей попалась напоследок. Давно такую хотелось иметь. Раньше сена не давали косить. Коров-то все на соломе держали всю зиму. Только когда перед отелом, да потом после отелу немного подкармливали сенцом-то. Когда она теленочка принесет. А так все на соломе. А как купила Буренку, так все старается ей накопить сенца-то побольше, чтоб она хорошо доила. Не шибко сейчас на пенсию-то разживешься. Вот Буренушка-то матушка и помогает Дарье. Глядишь — хорошая прибавка к пенсии-то выходит.

Но приходится только поворачиваться, как весна начинается, так до самой глубокой осени — все работа. То под гряды копать да садить, потом трава полезет, полоть надо. Картошку полоть да окучивать. А тут и сенокос недалеко. Поначалу все одна косила: Потом тятя с мамой позвали: «Давай, Дашутка, помогай нам, че ты одна-та базгаешься. У нас побольше помощников-то. И твоей корове потом хватит. Привезем тебе сена». Стали вместе косить. Валентина подросла. Стали ее на покос брать. Она хоть и не в Дарью пошла статью, а все умела делать. Поправлялась со всякой работой уж к 16-ти годам. Это потом она, когда уехала учиться-то, то пореже стала ездить в деревню. Когда выучилась на учительницу, да замуж на последнем-то курсе выскочила, то вовсе редко приезжала. А когда у ней Иришка появилась, то они с Николаем уехали к нему на родину — в большой дымный город на севере Тюменской области. А лето подходит, они все норовят куда-нибудь уехать в отпуск. То на юг, позагорать да покупаться в Черном море. А у нас тут свой юг. Жара летом стоит до +40 и больше. Дышать нечем. Некуда голову пригнуть, когда косишь. От паутов спасу нету. На ходу кожу прокусывают до крови. А деваться некуда. Вот и пластаешься целый день. Семь потов сойдет. И в глазах черно станет... Тут тебе и юг и Черное море.

Не думали и не знали, что ко всему кругом давным давно все отравлено... Не одна авария под Челябинском-то произошла... И вся атомная отравка к нам в речку Исеть пришла. А на заливные луга, на огороды. А мы до сих пор скот пасем и сено косим тут, пьем из реки и рыбу ловим... Недавно, только через 30 с лишним лет кое-что напечатали в газетах об аварии. Вро-

де, раз в 20 больше отравы-то тут было, чем в Чернобыле. Сколько нам потравили... А мы-то думаем, что почему это мы все болеем и болеем. Чуть дунуло — уже простыли. То катары, то бронхиты. И колют уколами, а толку нету. Войну вон пережили. На одной крапиве да на картошке жили. И выжили, не болели. А тут в мирное время отраву всякую хлебаем, да едим. Вот и у Дарьи стала последнее время побаливать поясница. То в одном месте прокнет, то в другом. То в ногу одинова так вдарило, будто током прошило до самой пятки. Долго Дарья после этого ходить не могла. Но лежать не будешь. Надо за коровой ходить, по дому всякая работа. Написала дочери письмо. Та прислала ей лекарства хорошего. Сейчас полегче стало. Перед ненастьем еще сильно ноет нога. Дарья натирает ее всяким местом — то тройным одеколоном, то в медпункте ей какое-то натирание дадут.

За время дождей она хорошо отдохнула. Выспалась вволю. Подготовилась к сенокосу.

Вчера она вытащила три литовки — две большие и одна поменьше лезвием. Вначале, еще в девках, это Дарья была, потом Валентинна стала. Димка сразу смекнул: «А это моя будет! А тебе, Иринка — большую! Ты вон какая дуботолщина вымахала».

И действительно, за год Ириша подросла сильно, ростом стала с бабушку. Ноги длинные и худые. Одни косточки. «Ничего. — думала Дарья, — были бы кости, мясо нарастет. Я тоже не толстая была. Это сейчас раздобрела, когда в колхозе-то не стала робить-то. А думала, что до пенсии не дотянуть. Из последних сил тянулась последние три месяца. Все кости, кажется, болели. Все жилы вытянула казенная работа. А потом вышла на пенсию-то, отдохнула и окостыжилась вроде. Даже толстеть немного начала. Годы, видно, свое берут».

Руки у Дарьи были мускулистые, крупные. Никакому мужику не уступит до сих пор — хоть косить, хоть метать сено. Да, поработали эти рученьки в войну и после войны... Вся война на этих женских руках выиграна. Без еды-то никакой солдат не солдат. А вот эти женские рученьки да руки парней-подростков добывали пропитание на полях да на фермах и солдатам, и генералам... А сейчас такая техника в деревнях — и всем есть нечего. Продовольственная проблема. Все продукты из-за границы покупаем. Стыд и позор нашим правителям...

Бабы, девчонки и мальчишки от 11 до 16 лет на своем пупке, да на своем горбу всю Россию спасли. А после работы-то еще холостовали, да пели частушки:

«Ах, девочки, война, война идет аж до Урала,

Ах, девочки, весна, весна, а молодость пропала».

А после войны думали полегче будет. Но то же самое осталось. Мужиков мало. Все говно опять бабам ворочать — за коровами, да за свиньями убирать.

Сегодня Дарья опять за мужика решила поработать. Вместо своего Василия литовки отремонтировать. А то Димка надоел: «Когда да когда мы косить-то пойдем!». «Ох, Дима, накосишься ты за один единственный денек...». Дарья достала из-под сарая литовки. Потрогала каждую за лезвие. Где болталось, она забила сухие клинышки. Рукоятки передвинула каждому внучку по росту, чтоб до пупка была. Развязала бечевку: «Ну, Дима, давай подходи, мерять тебя будем». Поставила литовку лезвием на землю, опустила ручку до пояса Диме. Затянула снова бечевку, закрепила ручку. Вот теперь Ириша давай подходи: «О, да ты здорово подросла. А, ну, дак ты вроде бы прошлым летом не была у меня». «Как это не была? — возмутилась Иринка. — А кто тебе сено-то косил? Забыла что ли?». «Постой, постой... И вправду мы с тобой лонись всю леху вдвоем выпластали... Точно. А почему же ручка не подходит? Фу, ты, да это же литовка-та не та вовсе — спохватилась Дарья. — Ты же вон той литовочкой-то махала. У Димки она теперь. Все правильно». И Дарья с неохотой стала перевязывать ручку у одной из больших литовок, которой она всегда косила вот уже лет сорок. Она сильно привыкла к ней. С этой литовочкой Дарья была как одно целое. Они не знали ни устали, ни отдыху... Она зря развязывала бечевку. Литовка была Иришке в самую пору. По росту. Нынче Дарья возьмет литовку Василия своего. Ручку не надо перевязывать тоже. Они с Василием были одного роста. Дарья даже чуть повыше была. Дарья вспомнила поговорку:

Я и лошадь, я и бык,

Я и баба, и мужик...

Литовкой Василия давно никто не косил. Она покрылась ржавчиной кое-где. Дарья достала наковаленку, молоток, села на чурочку и стала отбивать первой литовку Василия. Нынче на покосе будет ей косить память о ее муже.

Они поженились с ним в 1949 году. Василий был старше ее на два года, но выглядел намного старше. Сухощавый, с впалыми щеками и глубокими морщинами. Дарья в то время было уже 26 лет. Она никуда на вечерки уже не ходила. Считала себя уже старой. На работе Василий все поглядывал на Дашу. Девка она была работящая, ни с кем не встречалась, по танцулькам не бегала. Ну и из себя была такая ладная. Все, как говорится, было при ней. То он поможет ей мешок поднять на машину, то подвезет до дому. Но особенно ей приятно было, когда он ласково называл ее Дашенькой. Никто, никто

не называл ее так. Сердце так и заходилось, таяло, и кровь прилиwała к щекам. От этого она становилась намного моложе и не уступала по милосердию и более молодым девушкам. Ей нравились его выщипанные волосы, загоревшее лицо, а особенно блестящие черные глаза. Как две черные молнии пронзали ее душу. Хоть он был пониже Дарьи, зато на гимнастерке заворуженно искрились его боевые награды. Затянутый ремнем он был похож на настоящего офицера, хоть и был в звании сержанта. При случае он все пытался пошутить. «Ну, что, Дашенька, засылать что ли к тебе сватов-то, а?». Она также в шутку отвечала: «Ну, дак че, Вася, засылай!».

... Вот он пришел к ним домой. Да не один. Пригласил своего знакомого шофера Михаила -гармониста. Тот уже был женат. У него было двое детей. Они с женой Галиной -певуньей переехали из соседнего района к ним сразу после войны. Михаил очень нравился Даше, но она не смела поднять на него глаз. Знала, что нельзя, а сердце тянулось к нему. И он это тоже чувствовал. Какая-то тоненькая ниточка между ними существовала. Михаил парень был видный, высокий, первый гармонист. Ни одна гулянка без него не обходилась. Но и Галина у него боевая жена была. Ходила вместе с ним на все приглашения. Пела и плясала до усталости. Выпьет стопку-две, покраснеет, помолодеет. Ярче и даже краше Дарьи была. И зорко следила за своим мужем-гармонистом.

Гармониста я любила,

Гармониста тешила,

Гармонисту на плечо

Сама гармошку вешала.

Вот Василий и заходят к ним с Михаилом. Дарья ступевалась, покраснела, щеки огнем запалило. Не ожидала такого. Мать глянула на нее подозрительно, подумала что-то свое. «Окрутил, видно, девку солдат... Обломал...». Василий молчит. Начал разговор Михаил. Тут и отец Даши со двора заходит. Мать пригласила их за стол. Самовар тащит. Михаил говорит, что они не чай распивать пришли, что дело обстоит посерьезнее. И достает две четвертинки водки. Отец кивнул матери, чтоб стопки достала. Мать вытерла стопки, поставила на стол. А у самой руки что-то дрожат. Она их в фартук замотала, будто вытирает. Гости разделались, сели за стол. Василий стал наливать. Он весь блестящий был какой-то. Лоб его блестел от жарко натопленной печи что-ли. На улице ударили первые морозы. Земля призастыла, ее чуть-чуть припорошило снежком. Василий был в своей парадной офицерской одежде. В гимнастерке с медалями, галифе и хромачах гармошкой. Жених — одним словом. Подняли стопки. Михаил и говорит: «Вот, призна-

ли мы, что у Вас есть голубка. А у нас опять есть сизокрылый голубь. Нельзя ли им вместе, полюбовно объединиться в одну семью?».

Отец смотрит на мать, а мать на Дашу. Та слова не может вымолвить. Шуточное ли дело. Замуж сватают. Не думала, не гадала — эвон какой принц присватывается. Она себя давно списала из невест. Под тридцать лет бабе. В рабочие лошади себя зачислила. В колхозе с темна до темна, да дома дел невпроворот. Мать на нее зашикала: «Ну, ты че стоишь, тебя ведь спрашивают. Согласна, нет?». Даша в ответ: «А я что, как Вы — папа с мамой скажете. Так и будет».

Видимо решила. Все жданки прождала, нету больше сил ждать. Не вернулся ее Иванушка с войны... «Нам что-ли замуж-то, — не унималась мать, не зная на кого свалить эту тяжелую ношу. Отец молчит. «Ну ты че, отец, молчишь? — али это не твою дочь сватают? Не твое че ли дитя-то замуж собирается? Говори давай! Твое последнее слово». «А я че, — пытается извернуться отец, да видно не отвертись. Все. Пришла пора брать ответственность на себя». «Давайте, — говорит он, — Выпьем по одной, а там видно будет, — пытается он еще как-то растянуть время и может быть тогда язык сам повернется в нужную сторону. И окончательное слово само собой произнесется».

Мать соленых грибочков на стол поставила, холодца. Хлеба калачик порезала. Селянку из печи достала. Выпили по первой. Разговор все не клеится. Отец закурил тоненькую папироску, предложенную женихом. Василием.

«Ну, че, девка, давай решайся! — заговорил отец Даши, — пытаюсь все-таки на нее свалить сие мероприятие. — Тебе с ним жить. Не нам. Все равно ты отрезанный ломоть. Рано или поздно вылетишь из родного гнезда. Не век же тебе с родителями жить. А не хочешь, дак не неволим, — как бы одумавшись что ли, внезапно переменяет он тему. Вдруг Дарья подумает, что он ее гонит из дому. Силой заставляет идти замуж. И, повернув разговор в шутовское русло, спросил: «Неужто Вы с Василием ни разу не подцеловались?». Даша опять покраснела. Отец понял по-своему. «Ну вот, раз было дело, чего тогда мнешься. На отца с матерью пеняешь. Говори давай! — твердо и, кажется, сказав свое последнее слово, отрубил он. Все. Приперли Дашу к стенке. Некуда деваться. Пошли последние секунды — тут решается ее судьба... «Где же ты, мой Иванушка? — пытается вопрошать мысленно она. Но Иван-то о Дашиных думах не ведал, не гадал. Хоть и живой может, где-то... Только вот где? И почему его нет и нет так давно? Тут еще Михаил давай ее убеждать: «Ну, чего ты испугалась, голубка? Лучшего жениха тебе и не видать. Ты подумай хорошенько!».

«И действительно, чего сй рыться, -- где они женихи-то? На дороге, в самом деле, не валяются, — подумала Даша. — Мужиков-то в деревне — раз, два и обчелся. А тут ей такой орел руку и сердце предлагает. Ей уж не 18 и даже не 20 лет, а все 26... от тяжелой мужицкой работы, от которой пупок развязывается, она уже и на бабу-то не похожа стала. Одна раб-сила.

«Я и лошадь, я и бык,

Я и баба, и мужик», — все вертелось у ней в мозгу давняя присказка. О своем глазе она уж и забыла совсем. А тут опять вспомнила. Этого изъяна она — невеста — стеснялась больше всего. А Василий от выпитой рюмки как-то потеплел лицом, расправились жесткие складки, он смотрел на Дашу добрыми блестящими глазами и как бы упрашивал согласиться. Что она не пожалеет потом ни о чем. От него исходила какая-то настоящая мужская уверенность. Он был туго затянут ремнями, армейской формой, блестел весь. Но что-то в нем еще было такое закупоренное, что не давало проникнуть к нему в душу. Дашино чувство наткнулось на жесткое ограждение, ее тонкая ниточка надежды не могла соединиться с его чувством. Не было какой-то тайной связи, которая бы соединила их сердца в одну поющую струну. От музыки которой самой хотелось бы петь, улыбаться, обнимать мать с отцом, родственников, друзей и знакомых.

«Ну, Даша, дай твою руку», — наконец обмолвился Василий, чувствуя, что Даша стоит у последней черты и не решается сделать шаг ни вперед, ни назад. Стоит в раздумье... Он протянул свои обе загорелые руки со вздутыми венами и стоял теперь напротив нее и смотрел заворуженно на Дашу.

Она секунду-две помедлила и ее рука, кажется, сама, без отказа и сознания стала ответно подниматься...

Василий тут же обхватил ее руку обеими руками и крепко сжал. Сделал ей шаг навстречу, приблизился. Перед ним оказалось чуть бледное лицо Даши, какой-то внутренний испуг в глазах, ее нерешительность и в то же время покорность. «Ну, вот и все, — сказал Михаил. — Давно бы так. А то мы уж все измаялись».

Все собравшиеся облегченно вздохнули. Кроме самой Даши. Она стояла все такая же напряженная и оцепенелая. «Давайте счас все выпьем за молодых, за Василия и Дашу, за нашу прекрасную парочку. За голубя и голубку!» — поднял стопку Михаил. Все выпили. Запотирали руками. Дело сделано. И с плеч долой! Налили еще по одной, чтоб снять напряжение. Стали хорошенько закусывать. И полилось вино. Теперь за родителей Даши и Василия. И так далее...

Одна Даша стояла с полной стопкой. Она так ни одной и не выпила. На

нее никто не обращал внимания, кроме матери, которая стояла, подперев рукой щеку, и держала в другой недопитую наполовину стопку. Она вспомнила свою молодость. Как они с отцом, т. е. с бывшим женихом дружили долго. Как ее не хотели отдавать за него. Она была из двоеданской семьи, из староверов-кержаков, а он — мирский. Она шутя говорила: «Ну, что, Петя, а примешь мою двоеданскую веру. Тогда пойду за тебя», — не слыша ответа, говорила она. «Оринушка, все сделаю, приму, только выходи за меня и ни за кого другого. Учти, житья тебе не будет ни с кем другим». — припугивал он. А сам думал: «Какая там двоеданская вера? Когда никто, ни во что не верит, — ни в Бога, ни в черта, ни в дьявола». И Петро не верил. Он видел все. Кто как живет. Как каждый тянет одеяло на себя. А особенно те, у кого есть хоть какая-то, хоть крохотная, но властишка. Как-нибудь проживем... Он был молод, полон сил. Он любит Орину. Она его. И она ему верила. И пошла за него замуж. Как говорили тогда «Убегом». И никто не запретил ей любить только Петрушу. Нарожала ему детей целую кучу. Вот, старшую, Дашутку, теперь надо замуж отдавать. Работящая девка. Жалко стало отпускать Дашу из дому. Хорошо она помогала им. И Орину украдкой от подвыпивших, разговорившихся, наконец, мужиков, уголком платка вытерла скатившуюся слезу. Одна Даша только и заметила это. И тоже прослезилась. Слезы скатывались, будто-бы беспричинно. Она не могла их остановить, да и не хотела. Начиналась новая, неизвестная доселе ее жизнь.

... Потом, когда Василий напивался и лез к ней целоваться с перегаром, она отворачивалась от него и вспоминала ту материну слезинку. И у ней самой тут же непроизвольно наворачивались непрошенные слезы. И она утыкалась в подушку, давая волю нахлынувшему ниоткуда слезам. «Ты че, — не понимая в чем дело, мычал Василий, — я же ничего. Не обижаю тебя, — и он легонько притрагивался к ней. Потом так же настойчиво лез дальше. Даша убирала его руку и продолжала изредка всхлипывать.

В общем-то они жили с Василием не так уж плохо. Дружно и много работали. Жили как могли. А без работы куда денешься. Жить-то надо. Все так жили... Или почти все. Вот только детей у них не было. А жили они уже шесть лет. Василий стал частенько выпивать с ребятами в гараже. Но приходил домой всегда ночевать. И не шумел шибко. Только иногда, когда она ему устраивала «постные» дни. Хоть Даша и не чуралась своих обязанностей жены, но все равно долго не могла привыкнуть. С какой-то брезгливостью или тайной боязнью ждала она каждую ночь. Вася и целовал ее, и обнимал, прижимая ее к себе. Даша в это время почему-то вспоминала тот дом отдыха, те ночи в номере у себя. Те неприятные воспоминания всегда

терзали ее, когда Вася начинал прикасаться к ней. Особенно, когда он был выпивши. Даша внутренне противилась этому, но он добивался своего все-таки. Она сдавалась ему. Получив то, что ему хотелось, Василий вскоре уже похрапывал. А Даша так и лежала, не испытав ни страсти, ни наслаждения. Долго еще лежала она с открытыми глазами, не могла заснуть. Отворачивалась, чтоб не слышать перегара. Трезвый Василий еще больше сердился, если Даша говорила в постели: «Не надо. Завтра на работу рано вставать». «Каждый день надо на работу рано вставать, — думал Василий. — И что теперь? На «сухом пайке» что ли жить?» — вспоминал он армейские выражения.

Василий тоже демонстративно отворачивался и лежал посапывал, будто бы засыпал. Он лежал и думал, почему это Даша такая холодная к нему. Не любит что ли? Ведь он-то ее любил. Пусть по-своему, по-мужски, но любил. И не было никого кроме ее после свадьбы. Хотя за войну и после он всяких познал. Счет им потерял. А теперь как отрезало. Никто не мил, кроме Даши. Другие женщины бывало откровенно предлагали себя переспать с ним. Но Василий находил причину, чтоб отказать. И порой уже с сожалением вспоминал об этом, когда Даша отлучала его от себя. Ругал себя, что не захотел воспользоваться подходящим случаем. Но в то время он без всякого презрения относился к этим женщинам. Он действительно не хотел смешивать их с Дашей. Для него она была все — свет в окошке. Он шел домой, торопился, чтобы увидеть ее, обнять, ощутить ее запах волос, прижаться к ее груди. Поцеловать. Но придя домой, встречал почему-то холодный взгляд, безразличие. Неласковость. Но и вечером, он наталкивался на то же неподвижное тело. Даша лежала без движения, какая-то затаенная, закрывшаяся. Он понял, что она его не любит. Или может у ней кто-то есть. Может другой мужчина? Он стал тайком за ней приглядывать. И действительно, когда он утром как-то сказал, что поздно вернется, а вернулся вечером как обычно, то застал у себя дома друга своего — Михаила. Даша изменилась вся в лице, сжалась. Что же будет-то? Ждет. Но Василий виду не подал, поздоровался с Михаилом. Тот сказал, что пришел сказать, что он завтра не выйдет на работу. И действительно он не пришел на работу. То ли это было случайное совпадение, то ли что? Так он и не узнал этой тайны никогда. Но после этого случая он не замечал за Дашей ничего подобного. Может ему просто поблазнило от ревности. Примерно через месяц после этого случая он отметил, что Даша к нему стала ласковей относиться. И в одну из ночей он испытал ответное чувство. Через год у них родилась девочка. Назвали Валею. Со дня свадьбы прошло семь долгих лет... Наконец-то счастье пришло и в их дом.

Слава Всевышнему, что не забыл их, не обделил любовью, не обошел стороной.

Валентина ростом и статью пошла в Василия. Небольшая, чернявая да крутящая. А характером в мать. Работящая и обязательная по всем. Василий вскоре после рождения дочери попал в аварию. Вез муку из Шадринска на своем «ЗИС-5» по деревянному мосту через реку «Исеть». А там образовалась какая-то пробка. Кто на лошадях ездил, кто на быках тогда. Вот он стал пятиться назад и машина рухнула в реку. Мост, видимо, уже старый был, доски не выдержали и поломались. Дверцу в кабине заклинило, да его еще рулем придавило... Остались Даша вдвоем с Валею. Хорошо, что отец с матерью помогли. Косили сено на две коровы. Днем после работы косили в колхоз, а ночью — для своей коровы. Так в две смены и вкалывал отец-то. Не выдюжил долго. Захворал и тоже вскоре схоронили. Опять Даше за старшую в семье пришлось быть. Еще трое ребят у матери-то осталось.

Мать в колхозе наробится: а потом со своим хозяйством пособиться не может. Но все-таки вырастили с горем пополам. Разлетелись кто-куда. Схоронила и мать. Дарья решила во чтобы-то ни стало вызволить свою единственную дочь из этого рабства. Чтб она не горбатилась за палочки-то в колхозе. Послала ее учиться в город на учительницу. Вот теперь привозит Валентина к бабушке Иришу и Димку, чтоб помогли ей сено косить. Иринка вся в Дарью уродилась. Такая же высокая да костистая. И покладистая. Все делает, что ей бабушка наказывает. Сделает все аккуратно и ладно. И как она угадала в Дарью. Может потому, что гостила часто? Бабушка в ней души не чаёт.

А Димка — этот опять в дедушку Василия весь. Такой же черномазый, да маленький. И шустрый больно. А Валентина с Николаем все по путевкам да по курортам катаются. Вместе-то надоело, дак давай порознь ездить. Никак не усмирят свою плоть. Может потому, что нонче и по телевизору все показывают, как мужчина с женщиной в постели ведут себя. И книжки на эту тему всякие есть. Дарья вон один раз в доме отдыха нагляделась досыта, дак всю жизнь вздрагивает.

«А может, — думала постоянно Дарья. — Может у них с Василием и детей поэтому долго не было? Да, нет. Василий мужик не из последних. Наверно, за войну-то не один десяток баб перебрал. Пусть Дарья в этом деле ничего не кумекала. Но ведь бабы-то бывало, на сенокосе такого нараскажут, что ни в одной книжке не прочитаешь. Просветят как надо. Некоторые вон нонче тоже стали поезживать по домам отдыха. Свои-то мужики видно надоели. Да спились...

После родов-то у Дарьи бывало накатит что-то, что она места себе не находит. Только мужика-то Василия — нету. Одна-одинешенька она осталась...

Так и жила теперь Дарья для внуков больше да для своей Буренушки... Коровы не попускалась. Тем более, что теперь отвели каждому свой покос. Ей достался совсем рядом с деревней. Где-то около часу она добиралась до него с тележкой. В пойме Исети, на заливных лугах. Она ждала этого времени как праздника. Выстирает все белье, все свои старенькие светлые платья



и блузки. Платки белые. Отобьет литовки. Этому она у Василия научилась. Все посиживала да раговаривала с ним перед покосом, когда он литовки отбивал. Теперь не тащит к мужикам, чтоб отбили ей литовки за бутылку. Думает все, а вдруг Валентина с Николаем нагрянут. Отбивала всегда три литовки. В последнее время изверилась. Стала отбивать только свою. А сегодня ей пришлось опять три отбить. Для себя — литовку Василия, для Иришки — свою литовку и для Димки — теперь Иришкину уж. Хоть с внуками да покосит Дарья. Научит их этому крестьянскому ремеслу. Оно хоть и кажется простым, а не сразу во вкус войдешь. Иной так и не может ладом научиться. Вон как Валентинин Николай — шибко это дело не любит. Хоть и косить научился маленько. Парень городской, ленивый. «Ну, ты, мать, железная что ли, — ерничает он. — И сколько в тебе силы-то, и где ты ее черпаешь?». «А вон в Исети, — отвечает Дарья. — Искупайся, да попей водички из родных мест, вот они силу-ту и дадут тебе. И второе дыхание...».

«Ну, ты наверное, двужильная, — опять не унимается Николай. — Таких, наверное, только до революции умели клепать! Заказать бы еще несколько миллиончиков, чтоб нашу Рассею-матушку из кризиса вытащить. Фу, жарыша-та какая, — отпыхивался он, лежа под копешкой сена. А ей хоть бы что. Пластает и пластает. Только шум стоит».

— «А вот таких, как ты, — возмущалась Дарья, — лучше бы мама родная не рожала совсем. (на свет). — Тебе бы только за бабами ухлестывать, — подковыривала Дарья. Тут тебе никакая жара нипочем».

— «Ну, ты, теща, даешь! Да как же за ними не ухлестывать? Ты только посмотри на свою Валентину». Валентина всегда работала в одних плавочках, в купальнике. Загорелая, ладная, фигуристая, небольшого ростика, она похожа была на девушку лет 20-ти, хотя ей было уже около 35-ти. «Да это же пэрсик», — не унимался расхваливать свою Валентину Николай, и чмокал губами, посылая ей воздушный поцелуй.

— «А почему ты ни одной юбки не можешь пропустить?» — не унималась и наступала Дарья.

— «Да кто тебе сказал-то? — накакай тому в ротик, — обижался Николай и начинал хамить. — Ты вот с одним Василием прожила, а че ты видела?»

«Испытала ли ты наивысшее наслаждение от супружеской жизни? — пикировал Николай замысловатым текстом. — Нет, уж женщины — это самое прекрасное создание на свете, самое чудное сотворенье всевышнего. И как же этим совершенством не наслаждаться», — философствовал Николай. Он падал в густую нескошенную траву на спину и любовался воздушно-белы-

ми кучевыми облаками... — «Нет, тут меня никто не переубедит, — как бы старался убедить сам себя Николай. Женщины, как вон те небесные созданы — облака — сотканы из легкого прозрачного эфира. Я упиваюсь этим чудом! Я просто балдею от них! Вон одна Валентина что значит. Я ее ни на кого не променяю. Хоть миллион мне подавай, — и Николай шутя божился. — Вот тебе крест! Люблю ее больше всех на свете!».

После этого Дарье, конечно, ничего не оставалось, как сдаться. Отступить. Такими доводами он ее успокаивал немного. «Если бы ей такие слова ее Василий говорил!» — вспоминала она.

— «Ой, пора ребят-то будить уж! — спохватилась Дарья. — Девятый час времени... Пока поедим. То да се. Пока соберем еду-провиант на весь день, уж и девять подскочит». И она стала будить Иришку. Та сразу проснулась. Встала неторопясь, потянулась. И сколь она длинна. Лежит, дак чуть не на два метра вытянулась. Встала. В одних плавочках пошла к столу, где были прикрыты полотенцем со цветочками шаньги, калачи и пирожки с клубникой. Взяла один пирожок. Откусила. Понюхала: «Ох, как вкусно, а баба! Ты у нас просто чудо-лекарь. В городе бы сейчас твои пирожки нарасхват стали. Приезжай к нам торговать ими. Сейчас все торгуют. Все бизнесом занимаются». «Какой там бизнес! Давай одевайся скорее. Больно нравится вам нонче нагишом-то ходить! Да хоть бы умылась сначала. Да потом за пироги-то бралась, — пробурчала в ответ Дарья. — Спекулянтов-то у вас там по городам-то и без меня хватает. Никто нонче робить не хочет. Вот и кинулись все перепродавать, за длинным дармовым рублем. А нос дерут... Бизнес. Бизнес. Развелось там толстопузых-то. Вот бы их всех в колхоз! Говно-то поворачали бы... Так узнали бы что почем. И как хлебушко выращивают и мяско-то...».

Продолжала возмущаться Дарья. Она полезла на полати будить Димку. Он спросонья не понял в чем дело. Привык в дожди-то до 10-11 часов дрыхать. «На покос-то пойдешь! Али нет?» — стягивая с него одеяло, спросила Дарья. Он схватился за край ускользящего одеяла. Но вспомнив о вчерашних приготовлениях, когда бабушка отбивала косы, спрыгнул с полатей, быстро оделся и сел за стол, проковыривая глаза. «А умываться кто за тебя будет? — складывая провиант в сумку, поинтересовалась бабушка. — Давай-ко сходи под сарай и вытащи к воротам тележку на резиновом ходу», — тоном просьбы распорядилась Дарья. Димка побежал на улицу. Утро было прохладное. Ярко светило солнце. Достал телегу с двумя длинными деревянными ручками и железным ящиком на них. Бабушка с Иринкой на этой тележке таскали половики мыть. На тележке можно было перевозить и

землю, и навоз. Хоть сена возочек. Она легко катилась — была на подшипниках сделана. Хороший мастер ладил. Доботно и красиво сделана. Бабушка ее купила за 30 рублей. На старые деньги это большая сумма была. Целая бабушкина пенсия. Тележка хорошо помогала в домашнем хозяйстве. «Хорошенько наедайтесь, — говорила бабушка. — А то робить не заможете. Долго обеда-то ждать. Так что наедайтесь впрок. А пока дойдем до покоса, у вас в животе все уляжется. И робить будет легко. И сила будет». — наставляла внуков как бы между прочим Дарья. Не особенно приказывая, но доходчиво и ясно. Что не на прогулку идут. А на большое и трудное дело. Идут косить. А это тяжелая работа. Где надо много сил и выносливости.

Захватив косы, они сложили их на телегу. Поставили туда же сумку с провизией. Воды в капроновую фляжку. Топорик маленький, нож, кусок бечевки, оселки. Дарья все до тонкостей знала, что может пригодиться им на покосе. В уме все перечислила. И запрягшись в оглобли, она сказала: «Ну, с Богом!». Она мысленно перекрестилась, хоть и не была шибко набожной. Воспитывалась в советской школе, где не было никакой другой веры, кроме, как веры в Ленина-Сталина...

И они поехали на покос. Иринка шла рядом с бабушкой, взявшись за одну ручку тележки. Димка сзади помогал. Колеса катились легко по дороге. Вскоре они уже были на своем покосе. Стояла высокая трава, густая и росная поутру. Они вымокли. Димка был в шортах, но и их замочил. У Иринки вымок до пояса ситцевый цветастый халат. На Дарье была белая кофточка и серая длинная юбка с фартуком поверху. Больше вымок фартук. Над рекой стоял молочный туман. Они шли в нем как в дыму. На пять метров кое-что различая, а дальше ничего не было видно. Сплошное марево. Где-то пищала пролетающая чайка. Какая-то пичужка потенькивала в тальниковых зарослях. Кусты будто надвигались на них в виде доисторических животных, пасущихся на лугу в росной траве. Каждая травинка была усыпана перламутровой россыпью бисера — искрящимися капельками-росинками. Эта утренняя красота и фантастичность природы вливалась в души и сердца ребят, оседая там и очаровывая их.

Наконец добрались до места. Оставив тележку на тропке, протоптанной рыбаками, Дарья наточила литовку Василия и стала обкашивать берег Исети. Чтоб его видно было, чтоб не свалиться ненароком в речку. Отметила делянку, прокосив ее ширину Ирише. Наточила ей свою литовку, подала оселок. Сама стала прокашивать первый оберук для себя, врезаясь в покос с другого края. Прошла метров пятнадцать. Литовка Василия хорошо шла. В ней чувствовалась еще оставшаяся его мужская сила, крепость и напорис-

тость. Это чувство передалось от литовки, перешло в руки, душу и тело Дарья. И она все уверенней и ловчее стала продвигаться уже в поперечную сторону первому прокоосу. Димка с Иришкой любят, как бабушка косит: в белом платке, завязанном сзади под затылком, в светлой в горошину ситцевой кофте, в длинной до пят юбке, Дарья выглядела рослой стройной. Вместе с тем крепкой и статной. Им даже завидно стало, как их бабушка косит. Поскорее бы разрешила что ли. Она косит уверенно, широко, неторопливо. Шаг за шагом продвигаясь вперед. Трава выше пояса выдурила. Тут с краю и ромашка цветет, и желтый донник, и голубой шикорий, и розовый клевер, и фиолетовый мышиный горошек. Кое-где белорозовой пеной кустится порезник, да покачиваются желтые грозди пижмы. Белое, розовое, малиновое, фиолетовое, ярко-желтое — аж в глазах пестро от цветущих трав. Тут и коричневатые метелки конского щавеля. Тут же цветут малиновые шишки осота с татарником. Дальше стоит стеной проволочный костер с трубчатым стеблем как у хлебных злаков — овса или пшеницы. Наверху коричневая метелка чуть покачивается на легком ветерке. Валок за бабушкой ложится толстый, объемистый. Она пройдет оберук (рядок) без отдыха, возьмет пук зеленой скошенной травы, вытрет лезвие литовки, достанет из кармана фартука оселок и давай высекать по лезвию литовки, давай его ласкать с той да с другой стороны. Красиво все у ней получается. Иринка тоже пошла пробовать косить на свою делянку.

Димка рядом с бабушкой пристроился. В 10 лет он впервые берет косу в руки. Он в шортах, у коих одна штанина белая, другая в горизонтальную полоску. Такая же белая футболка — короткие рукава тоже в полоску и с капюшоном. Чтоб комары с утра меньше кусали. И чтоб солнце голову не так напекало. Димка размахнется косою широко. Со всего маху врезается в траву. Аж страшно бабушке. Не дай бог зацепит. Да все больше по верхушкам трав. Или — как размахнется, а коса — бух в землю. Он ее еле-еле вытаскивает. Бабушка потом за него это место почти снова прокашивает. И не ругается. Димка остановится, запыхавшись. Смотрит — как бабушка ладно, почти шутя, сваливает такую траву. Он поотгоняет паутов от своих загорелых лыток и снова примется махать косою.

— «И откуда у такого мальчика столько силы берется, — думает Дарья. — Намахается он сегодня. Крепко спать будет. Век будет вспоминать, как у бабушки на сенокосе был».

Махает он так, махает, да только мало толку от этого махания. То опять коса в землю воткнулась. Димка вытаскивает косу, потрогает за лезвие, а оно, оказывается, уже болтается. Кричит бабушке. Она подошла, взяла у него

литовку. Ему подает свою. Коси, милый! Он продолжает махать бабушкиной косою так же. А бабушка пошла к тележке. Вытесала клинышек, забила его в хомут литовки, чтоб лезвие больше не болталось. Наточила оселком. Попробовала косить. «Хорошо косит». — Отдает ему его косу обратно. Сама берет свою. «Давай, внучек, дальше пластай!». Совсем в противоположной стороне от них косит Иринка. Она водит литовкой ровнее — «пятачком» по земле. Но сил не хватает, чтобы прокосить такую стену травостоя. Литовка где-то на середине разворота останавливается, застрекает, забитая травой. Да еще дудки крепкие от конского щавеля попадают часто. Ей трудно с одного маху срубить их. Халатик у ней расстегнут. Мелькают плавочки и бюстгалтер. Она устало останавливается, ищет в траве где-то брошенный оселок и пытается подточить литовку. Лезвие ходит из стороны в сторону под нажимом оселка, ускользает. Как бы пальцы не обрезать, — с осторожностью точит косу Иринка. Вздыхает тяжело и снова начинает косить. Не девчоночь это дело, но ей хочется научиться так же легко косить, как у бабушки получается. Пройдя рядок до конца, она сбрасывает халатик, втыкает косу лезвием в землю. Солнце уже припекает. Она идет вверх по течению реки. Пройдя метров 20, она останавливается, садится на обрывистый берег. Ноги не достают до воды. Она вытягивает одну ногу и, держась за траву, пробует ногой воду. Посидев еще с минутку и повертев головой — чем там занимаются бабушка с Димкой, она тихонько соскальзывает в воду. И оттолкнувшись от берега, плывет по течению, наслаждаясь прохладой воды. Тело остывает, силы возвращаются. Доплыв до края своего покоса, вылезает, цепляясь за прибрежный кустик. Подходит к оставленной косе, но не спешит ее брать. Садится на халатик. Сидит согнувшись, неподвижно. Потом резко встала на спину, раскинула руки на пыльном скошенном валке сена с запахами луговых цветов и терпко-знойного лета. К ней подлетела белая бабочка и села прямо на ладонь. Иринка затаила дыхание. На лице ее до этого была будто бы надета маска с сурово-затвердевшим выражением, с насуспенными бровями. Но увидев бабочку, серьезно-озабоченное выражение растаяло, расправились складки. Иринка произвольно улыбнулась прилетевшей к ней бабочке и ярко-слепящему солнцу, и белоснежно-кудрявым облакам и всему лугу. И каждому цветку в отдельности. Приподняла руку с бабочкой, стараясь поднести ее поближе к глазам и рассмотреть, но бабочка, похлопав крыльями, тут же вспорхнула и полетела над лугом, высматривая себе соцветие поярче и попышней.

Иринка, закинув ногу на ногу, покачивает ей. Облака сверху — белые-белые кудрявятся, ярко светятся на голубом небе. А рядом порхают бабоч-

ки, желтые, белые, красно-кирпичные. И пауты тут как-тут. Как типнут, типнут в ногу где-нибудь возле щиколотки, аж подпрыгиваешь. Рядом трава стоит стеной, разноцветно горят краски цветущих бутонов. Все в самом соку, всеми цветами радуги переливается. Остро пахнет свежескошенным сеном, дурманит его ароматом. Ветерок едва колышит цветущие травы...

Иринка перекадилась со спины на живот, посмотрела чем занимаются бабушка с Димкой и снова покатила по валку к реке. Небо покачнулось, поплыли облака кудо-то вверх, вздыбилась земля, заняв место голубого неба. Все закувыркалось, слилось в один голубовато-зеленый клубок, вперемежку с белым и синим, золотым и зеленым. Кончился берег. И падение — как миг невесомости... Из огнедышащего мира в обжигающую прохладу. Серебристые брызги и темная вода... Вынырнула — и снова мир вернулся к ней светлым и красочным! Проплыла. Выбралась на берег. Обсыхает, довольная.

Повернула голову, а бабушка все косит и косит без отдыха. «И как она не устает, — думает Иринка. Ведь старая уже к 70 годам подвигается. А сил столько, что на нескольких городских хватит. Вон уже сколько выкосила. А косить-то еще сколько! Только первый день начали. Как искупалась, вроде сразу легче стало. Вот отдохну еще немного и тоже начну косить, — думает Иринка, покусывая травинку. — Димка вон опять у тележки сидит. Голову пытается в тень спрятать. И воду опять зусит. Вспотел, бедняга. Он в первый раз на такой жаре работает. Ох, намахается? Иринка помнит, как у ней на второй день все тело болело прошлый год...».

Она медленно поднимается, как в замедленном кино. Берет косу, точит ее и с неохотой размахивается. Коса стала тяжелой почему-то. Лезвие, срезав пучок травы, опять резко останавливается, будто наткнулось на непреодолимую преграду. Опять эти красно-коричневые метелки конского щавеля. Да и трава стала как стальная проволока — только похрустывает срезанная косой. Она взмахивает косой раз, другой. Кое-как скашивает эти дудки. Эту преграду, но сил столько уходит на них, что коса становится как чугунная.

Но косить надо. Потихоньку она проходит один рядок. Кладет косу, идет одевать халат, солнце после купания прижигает плечи, да и пауты сильно надоедают. Как звери хищные кусаются, не дают работать. Наточив косу, она снова заходит на новый рядок. Хотя и медленно, но у ней все-таки что-то получается. Постепенно увеличивается скошенное пространство. Лежат пышные валки сена. И приходит удовлетворение.

Димка посидел возле тележки, попил воды со смородиновым вареньем.

Присосется к горлышку и зусит, и зусит, аж в животе туго станет, а все пить охота. Посмотрит — сколько там еще осталось воды. Хватит ли до вечера. Он поймал паута, который прокусил у него кожу на ноге до крови. Оторвал ему крылья и наблюдает, как тот прыгает по траве. «Вот теперь покусайся, попробуй, — говорит он пауту. — А, не можешь! То-то!». А сам в это время размазывает капельку крови по голени и слюнявит большое укушенное место. Крутит головой по сторонам. «Здорово у бабушки получается, — думает он. — Вот бы мне так научиться! А то я махаю, махаю, а трава пригнется, а потом опять выпрямится».

Бабушка уж давно отремонтировала ему расшатавшуюся косу, а Димка все сидит возле тележки. «Ох, как жарко! — он пытается засунуть голову под телегу. — И в горле опять пересохло. Опять пить хочется. Целую бы канистру, кажется, выпил бы. Да надо бабе с Иринкой оставить. И руки почему-то не поднимаются уже. Тяжелые. А они все косят и косят. Хотя бы тоже пришли отдохнули. Посидели бы вместе», — думает Димка.

Он тяжело встает, берет косу и идет к бабушке. Она отсылает его косить чуть поодаль. А то он так размахивается сильно. Того и гляди зацепит ненароком. Димка начинает размахиваться. Фу, коса опять втыкается в землю. Закусив губу, еле вытаскивает ее и, приподняв косу повыше, начинает ошибать то верхушки, то чуть побольше захватит. Трава разлетается от его косы пучками по сторонам. Он старается скосить побольше. И снова коса втыкается со всего маху в землю. Треск. Ручка ломается. Что-то не везет Димке сегодня. То одно ломается, то другое. Он бросает косу и бежит к бабушке. Объясняет ей. Дарья ни слова не говоря подходит, вытаскивает косу из земли и идет опять к тележке. Димка за ней. Она достает топорик, нож. Разрезает бечевку, отрезает от пересохшей ручки. Не выбрасывает ее, а кладет на тележку. Эту ручку ладил ей еще отец. В ней работа и память об отце... Она подает Димке топорик и посылает в ближайший куст. Чтоб он вырубил такой же толщины палку и показывает какой длины. Он с охотой берет топорик и бежит по скошенной лужайке. Ноги заплетаются в валках, бежать трудно. устал. Бежит через травостой, срубая на ходу головки татарника и метелки других трав. Скрылся за кустом. Иринка опять пошла купаться. Сидит на берегу, болтает ногами. На другой стороне реки тоже косят. Виднеются только три головы. Одна в белом платке и двое в фуражках. Обкосили прошлогоднюю загородку под зарод сена. И теперь ходят кругами вокруг этой загородки. У них получаются бесконечные, все увеличивающиеся по диаметру оберуки. Вначале они шли друг за другом. Впереди муж, за ним жена, сзади — дед. Но постепенно они оторвались друг от друга, получилось, что

вот идет впереди всех женщина, уверенно помахивая литовкой. За ней — дед, так же мерно и спокойно прокладывает себе дорогу в могучем травостое. А мужчины где-то не видно за изгородью. Глядишь — а впереди оказался дед. За ним сын — широким размахом сваливает выдурившую траву ровным валочком. Так и кружат они целый день под жарким солнцем, забывая о перекурах и отдыхе. Время не ждет. Какая она будет погода завтра. И как закрученная пружина медленно раскручивается, так и они ходят и ходят, как часы без усталости, с каждым шагом все увеличивая круг своего покоса, как небольшая галактика (из 3-х человек-звезд) летит и раскручивается по спирали в космически благоухающей зелени июльских трав. То тут, то там, то совсем едва видимые вдаль светятся эти светлые пятна голов, шевелятся в своем заколдованном мире. Трудятся на своих покосах люди, радуясь первому солнечному дню, пышным белым облакам, высоким и цветущим травам. Дарья не заметила, как прошла еще один оберук. Она взяла себе такое расстояние, которое она могла бы пройти без отдыха за один раз. Наточит литовку и пройдет оберук. Потом возвращается на свое начало. Пока идет, отдохнет немного. У ней получалось так, что косила она без отдыха. И дело двигалось быстрее. А если же сядешь отдыхать, то потом очень тяжело вставать будет.

По кругу же ходить ей уже тяжело. Не выдюжить. Возраст не тот. Она и внучатам выделила по делянке. Только длиной поменьше, чем себе. Только вот у Димки пока плохо получается. Ей приходится и за него еще перекашивать. Где-то его долго нет из кустов-то. Где он запропастился. Вон появился. Идет палочкой да топориком помахивает. Воюет с крапивой да шишебарками. Она сегодня не ругает его. А то совсем раскиснет. Вон его уж пошатывает. Намахался от души... Дарья сказала ему, чтоб палку в реку спустил, чтоб потом легче загибать стало. «Пусть отдохнет парень, пока палка намокает». Он пошел, воткнул палку в берег, другой конец в воду опустил. Иринка сидела тут же на бережке. Потом встала и, оттолкнувшись, прыгнула в воду солдатиком, только брызги на Димку полетели. О, как ему хотелось тоже искупаться. Он весь взмок в кустах пока вырубал палку. Но бабушка сегодня не разрешала ему залезть в воду. Перегрелся он сильно и устал. Не ровен час и до беды недалеко. Тут течение сильное. Завтра пообещала. Он только облизнул сухие губы и сглотнул тягучую слюну в пересохшем горле. Хоть и надоедал бабушке во время дождей, что скоро ли на сенокос-то пойдём. Вот и дождался, намаялся уже за полдня. Скорей бы обед что-ли? Хоть отдохнуть маленько можно будет. Полежать».

Иринка поплыла по течению вдоль берега. И вылезать не хочется. Почти

не двигается нисколько, а ее несет и несет. Мелькает убегающий назад берег, кусты, цветы иван-чая. Ухватившись за пучок травы, еле выбралась. Одеда халат. К телу уже притронуться больно. Напекло.

Вон и бабушка закончила свой рядок. Идет, литовка на плече. Даже не вспотела. Подходит к тележке. Втыкает лезвие литовки в землю. Достает сумку с провизией. Садится, подстелив мягкий ворох уже подсыхающей травы. Ноги вытягивает. Достает полотенце, расстилает его. Иринка тоже подходит и садится рядом. Димка там у берега с палкой возится, чуть не нырнул в реку. Выбрался. Бежит довольный к становищу. Лезет под телегу, от солнца прячется. Дарья достает молоко в двухлитровой банке, варенье, яички, малосольные огурцы, творог, помидоры и свежие огурцы. Пирожки, шаньги. Разламывает калачик хлеба. Окрошку, грибы соленые.

Димка как увидел все это. Сразу есть захотелось. Слюнки потекли. Куренка для этого случая Дарья зарубила, да зажарила: «Кушайте внучата. Устарались больно. Тяжело сено-то косить. Набирайтесь сил. Это еще только начало. Вот отдохнем немного после обеда, а потом опять начнем косить. Время не ждет».

У Димки все еще руки-ноги дрожат. Вот сейчас он на самом деле почувствовал, что сильно устал. Не торопясь поели. Дарья прибрала еду. Легли отдыхать. Димка сразу запосапывал. Уснул. Он сразу провалился словно в пропасть и полетел в разноцветном мареве по-над цветущими лугами, голубыми речками и зелеными дубравами. То оказывался в бездонно-голубом пространстве среди кудлатых бородастых дедов, то ли пророков, то ли каких-то богов...

Иринка лежала на спине и смотрела на клубящиеся облака. Дарья поставила сумку рядом с Димкиной головой, чтоб сумка давала небольшую тень. Чтоб ему голову не так напекло.

А сама принялась ладить ручку к его литовке. Вытесала серединку у палки, чтоб можно было схватить черенок литовки и загнуть ручку. Посгибала легонько, чтоб она не треснула и, ошкурив ее, отрубила нужной длины. Сделала зарубки, чтоб бечевка не соскальзывала, и положила в тень. Потом Димка проснется, Дарья и затянет ручку по его росту. Только после этого Дарья тоже прилегла на минутку. Давно, во время войны это было. Если подросток не вышел на работу, то родителям скажут, чтобы корову свою не выпускали в стадо пастись. Раз не вышел на работу, то и корова пусть сидит дома. Голодает... Знали на чем отыгаться. Без молока хотели оставить ребятшек малых и всю семью. Вот и бежишь на работу, как напонуженный. Загоняли силой на коллективную работу, вот и отучили в охотку-то робить.

Лучше воровать теперь али спекулировать, чем робить. Тем более, что за воровство не стали наказывать, как при Сталине. Теперь это называть стали «прихватизацией», а не воровством... Этим сейчас все больше начальство занимается. Рабочему-то нечего «прихватизировать» кроме своих цепей... День и ночь работали. То снопы вязали, то на телеги их грузили, да в скирду складывали. И мешки ворочали. Не смотрели на тебя — кто ты? Девка или парень:

Я и лошадь, я и бык,
Я и баба, и мужик.

Сильно досталось подросткам — девчонкам и ребятам. С 11 лет мешки-то начали ворочать. Всю мужицкую работу переробили. Тогда ведь не было такой-то техники, как счас. Все вручную делали. Зерно-то на быках да на коровах возили. Пахали и боронили на них. Зимой-то бывало и руки даже обмораживали. Мешок-то в рукавицах не возьмешь. Надо голыми руками таскать. Ох и морозищи были тогда... Разожгут огнище из соломы да греются возле костра-то. Солому лучше сожгут, чем колхознику отдать. А если возьмет немного, чтоб Буренку покормить, — скажут — украл. Засудить могли даже. ...Как-то раз отец говорит матери, что видел там около колхозного стана березу свалену ветром. Вокруг ее выкосили в колхозную казну и увезли да в зароды сметали. А возле самой березы дивно травы-то осталось. Да такая густая, да высокая. Отец говорит, что надо бы выкосить траву-ту своей коровешке. А уж глубокой осенью дело-то было. И тепло и ведро стояло. Сухо. Отец очистил березу-то, сучки вытаскал. Дарью с собой взял, чтоб вместе-то быстрее выкосить. Все-таки побаивался, если кто из начальства увидит. Всем этим после работы занимались. Выкосили они с отцом эту делянку. Береза-то широкая была; дивно накопили, высушили. Сгребли. Целая копна вышла сена-то. С воз хороший. Поправились. Косить себе нигде не давали. Только если на болоте, где осока одна. До того она острая была, что есть все руки о нее разрежешь, пока приберешь в зарод-то. Ее што-есть и корова-то не ела. Боялась язык изрезать. И до глубокой осени не давали косить-то. Бригадир как-то проезжал мимо. Видит копну сена кто-то накопил. Узнал ведь потом, кто выкосил и вызвал отца. «Не тронь, — говорит. — Если увезешь, судить будем!». Здорово страшали тогда. Да и судили, бывало, за колоски или за горсть зерна.

Конечно, Дарья тогда колхозной работы не чуралась. Все что заставляли, она делала все добросовестно. Так ее родители воспитали. Когда говорили, что «НАДО», то она так и понимала. «НАДО», — значит «Надо». Все-му верила. Как и все, наверное. Только вот теперь оказалось, что много вранья

было под эту марку — «НАДО». Чье-то головопьяпство и бессовестность скрывали под этим «НАДО». Правда, за хорошую работу Дарью не раз отмечали. У ней все грамоты вон сохранились. В сундуке лежат. А за военные-то годы ей даже медаль дали. На одной стороне «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-45 гг.» А на другой стороне медали — профиль «отца нашего» — товарища Сталина. Теперь Дарья может за это ездить на районном автобусе бесплатно.

А больше-то все за одни «палочки» (трудодни) работали. Денег не давали. Рассчитывались «хлебом» — пшеницей. Вот и жили только за счет своего хозяйства. Корова основной кормилицей была. Поэтому сена накопить было главной заботой каждого сельского жителя. Вот и приучалась Дарья к сенокосной поре сызмальства.

А какие налоги были при Сталине. Все сдай государству. Молоко сдай, яйца, даже если нет куричошек. Шерсть сдай. Полторы шкуры овечьих сдай с одной головы. Картошку сдай. Все сдавали. И мясо сдай — теленка или поросенка. Себе шиш один оставался... Анекдот был такой. Приносят студентам-медикам скелет человека. Спрашивают: «Что это такое?». Студенты отвечают: «Это колхозник, который все сдал. Остались одни кости...». Грустный анекдот, не правда ли? А то принесут обязательство — сдай государству. И перечень всего. А не будешь сдавать, сначала штраф сдерут, но все равно заставят сдать все перечисленное. Вот такая была колхозная жизнь. А что останется, то себе... Если останется...

Или прикажут: «Заем подписывай на тыщу рублей». Не подпишешь — держат в конторе. Хоть ночь, хоть день. Пока не подпишешь. Не отпустят никуда...

...А сейчас вон целые поля запахивают с хлебом. Намочит валки-то, они и прирастут к земле. Такая техника, а не могут убрать. Раньше-то все одними руками убирали. А нынче возьмут да запашут. И никто не виноват. Лучше пусть сгниет, но не тронь. Как тогда было, так и теперь. Это все местные власти изгаляются над народом. Сталин что ли приказал, чтоб не косить под сломленной березой. Потом бригадир приказал увезти сено в колхоз. Легко отбирать-то. Сам бы попробовал покосил...

Но Дарья все реже и реже стала вспоминать прошлое, каждодневные заботы отвлекали ее от тяжких дум. Она уже привыкла к своему новому покосу, что и жизни без него не представляла. Ждала лета, ходила узнавала, как там трава подрастает. Чисто его содержала. За неделю они, пожалуй, управятся с сенокосом. Если, конечно, дождя не будет. Она приучилась так делать. Выкосит леху, высушит и сложит в копешку. И, конечно, подкаши-

вает еще каждый день. Чтоб много сена не пропало, если дождь нагрывает. Дав внукам часик поспать, Дарья разбудила их. Димка никак не хотел подниматься. Все валялся под тележкой. Но вылезать все-таки пришлось. Надо было подгонять по росту рукоятку к его косе. Дарья отмерила и, положив черенок на землю, коленом согнула ручку и быстренько и ловко замотала бечевку. Ручка держалась крепко. Димка взял косу с новой ручкой. Ручка была белая, гладкая и чуть прохладная. Он тяжело вздохнул и положил косу на тележку. Начинать всегда любое дело тяжело. Но главное начать. А там втянешься постепенно и, организм, войдя в ритм, забудет тяжелое начало. Начнет работать уже больше автоматически, давая простор и мысли, и фантазии. Но такое состояние приходит только тогда, когда человек владеет своим ремеслом безукоризненно, мастерски. Вот тут-то и приходит вдохновение. Когда за тебя, кажется, действует кто-то другой. То ли сам Всевышний, то ли гениальная автоматика. То ли сам черт... Говорят в таком случае, что все идет как по маслу. Или — любо-дорого посмотреть — когда человек с удовольствием и красиво что-то делает.

Дарья взяла свою литовку и пошла отводить для Димки делянку, недалеко от своей. Иринка пошла в свой «угол». Там была ее делянка. Она все углублялась и углублялась, хоть и неширокой полосой, но зато видно было, сколько она скосила. Чтобы окончательно стряхнуть сон и усталость, она пошла к реке. С разбегу прыгнула в воду, проплыла вдоль своей делянки, выбралась на берег, одела халат и принялась опять потихоньку тюкать свой участок.

Дарья позвала Димку, наточила ему литовку, поставила его. Дала в руки литовку и сама взялась поверх его рук. Показала, как должны стоять ноги, как и на сколько они должны продвинуться после каждого разворота косы. Прижала «пятку» лезвия к земле. Провела литовочкой, сделав вокруг себя прокос. Переступила правой ногой вперед. Вернула литовку в первоначальное положение и пододвинула левую ногу. И пошли они с Димкой потихоньку, косила в основном Дарья, а Димка только запоминал эти правильные движения. Трава срезалась ровно, возле самой земли. Пухлый валок стелился слева от литовки...

Так прошли с бабушкой до конца делянки. А следующий оберок Димка попытался косить один. Сил, конечно, не хватало, чтоб протянуть косу от начала до конца. От старался изо всех сил. Но коса почему-то шла вниз и снова втыкалась в землю. Одно дело знать умом, другое — на деле. Тут нужен опыт, сноровка. И сила, конечно. Со временем человек набирается всего этого — и опыта, и умения, и автоматизма. И становится мастером

своего дела. Так в любом деле. Если, конечно, он того сильно желает. Без желания нечего и учиться...

Вот еще один помощничек появился у Дарьи. Хватит ли терпенья и настойчивости. Да ответственности. Вон его отца Николая никакими пирога-



ми не заманишь на сенокос. Вроде научился косить, а не хочется на солнышке целый день пластаться... Не приучен. Сызмолоду надо привыкать-то. Тогда и привычка будет. Чтоб хотелось работать-то, чтоб тянуло. Тогда польза будет всем, и самому, и делу твоему. Чтоб не из-под палки... Чтоб с желанием работалось. Чтоб знал для чего и зачем делаешь. Лучше, конечно, если

на себя работаешь. А не на дядю... Тогда и желание будет и охота придет... Это Дарья только к концу жизни поняла. Когда у ней появился вот этот свой покос, где она была единственная и полноправная хозяйка. И никто ее не подгонял. Она сама знала, что и когда делать. И когда сено начинать косить. И когда его ворошить и сгребать в копны. Да метать в стог. Иришке вон шестнадцатый годок пошел, а она уж все поняла. Может одна управиться, если Дарья не заможет. Но пока Дарья еще могучая, в полной силе. Иришку уже не надо заставлять или подгонять. Она свои силы знает. Поэтому у ней свой ритм. Своя покладистость. Может, чуть медленней, чем у взрослого. Но это еще от Дарьиного темперамента — неторопность и аккуратность.

— «Надо, — думает Дарья, — сегодня закончить подкашивать-то. Лучше сено немного поворошить. Оно быстрее высохнет. Вон че солнышко-то жарит. Сверху сено-то уже добро подсохло».

Она позвала ребят. А они рады-радешеньки, что хватит косить. Намахались в первый день досыта уж. С непривычки-то. Димка вырубил себе и Иринке по ивовой палке с шарашкой. А Дарья граблями стала переворачивать. Эта работа ребятам больше понравилась. Они шутя все сено на делянке чуть не бегом перевернули. Разделались быстро. за час примерно.

Иринка пошла искупалась опять. Поклала сумку в тележку. Литовки и грабли тоже все с собой взяли. Не знают, какая завтра погода будет. Дарье надо корову встретить с пастбища, накормить, да напоить. Поужинали и легли спать пораньше. Устали с непривычки.

На другой день она еле добудилась ребят — у них все тело заболело. Все мышцы. И кожа сгорела. Позавтракали. Опять запряглась Дарья в коренные. Иришка — пристяжной, а Димка сзади прискакивает. Будто помогает, держится за тележку. Солнышко уж высоко припекает. Да еще ветерок сегодня с утра. Вот сено-то и просохло хорошо. Они давай опять ворошить. Размялись немного. Не так больно двигаться стало. Опять за литовки взяли. Давай подкашивать.

Дарья смотрит на небо. У горизонта тучи начали сгущаться. А над головой огромные глыбы кучевых облаков громоздятся. Будто атомные взрывы... Покосили до обеда. Поели и без отдыха давай сено сгребать и носить в копну. Вот и поставили первую копешку. Делянка стала чистая. Ярко-зеленая.

Бабушка сегодня разрешила Димке искупаться. Они пошли с Иришкой к реке. На бегу разделлись и с разбега прыгнули в речку солдатиком. Вылезут да опять прыгать. До того накупались, что еле выбрались на берег. Дарья дозваться не может их. Надо еще подвалить травы-то, чтоб завтра опять на копешку хватило...

На третий день они с утра опять переворошили сено в валках. Сильно жарко было. Сено быстро подобрало, подсохло, пока они покосили. Дарья проверила сено, можно копнить. На этот раз они две копны поставили. Одну хорошую и одну чуть поменьше — эту на Иришкиной делянке уже.

К вечеру сильно засинело кругом. Они заторопились домой. А то намочит, дак и простынуть недолго. Только они успели въехать в ограду, как запогремливало. Туча аж черная накатила. И низко-низко. Потом как сверкнет, да громыхнет. Хорошо, что успели. Крупные капли с шумом западали, застучали по железной крыше дома. Ребята уж из окна наблюдали, как начало сильно поливать. «Вот они «сеногной-то» пришли опять. Давно не было... — подумала Дарья. Хорошо хоть три копны успели сметать. Другие вон косят, а потом ждут — когда сено-то подсохнет. Вот тебе и высохло — опять дождь дак». Дарья радуется в душе, что хоть три дня хорошо поработали.

Ребята уже пообвыкли немного. Но еще тело побаливает. Сдернули охотку. Первый пыл прошел. Начинаются будничные рабочие дни. Но Дарья ходит все еще взволнованная, даже помолодевшая. То ли от ярких светлых нарядов, которые она редко одевает в будни. Все трое сильно загорели, почернели, подвысохли на солнышке. Глаза блестят, белки глаз ярко-белые на темном лице. От работы да от купания мускулы укрепились, стали упругие, крепкие. Димка сгибает в локте руку и показывает бабушке, сколько он накопил силы. Дарья смеется: «Ну ты, Димка, у нас стал чисто этот, как его — американский громила». «Шварценегер» — подсказывает Иринка, — и улыбается тоже. Димка морщит нос недовольно. Шварценегером тут и не пахнет...



«Хорошо опять ленуло вчера. Долго еще сверкало да гремело. Утром пробудилась Дарья еще затемно. Полежала, не спится больше. Надо вставать тогда. Надо за коровой убирать. Напоить, да покормить маленько. Подоить да согнать в пастушню. Ребятам что-то надо сварить. Курицам с цыпущками надавать».

Небо все затянуло тучами. То ли еще будет дождь? Ребята пусть подольше сегодня поспят. Отдохнут. Вон че они за три дня устарились.

После обеда пошли с Иришкой на покос вдвоем. Димку дома оставили. Приболел он. Простудился. Перекупался видно вчера. Дарья как чувствовала, не давала ему купаться подолгу. Да разве уследишь. А он добрался до бесплатного-то... Вот и хнычет сегодня. Все болит. Горло болит, голова болит. Все тело болит. Она напарила ему травы и наказала, чтоб полоскал горло почаще. Иринка сегодня взяла велосипед. Взяли с собой собаку Джулю. Огромная серая овчарка. Пришли. Иринка стала косить в своем углу, а Дарья давай копны сверху разбрасывать. Промочило-таки вчера дождем-то. Не улежалось сено-то.

Через час денек разгулялся. Заподувал ветерок. Стал разгонять серую пелену. Появились голубые проглызины неба. Облака опять стали кудрявиться, но все еще шли густо. Ветерок все усиливался. Солнышко старалось подольше светить, как бы лавировало между разрывами облаков, огибало их и плыло по голубому полю.

Дарья проверила сено. Давай его ворошить железными вилами. Ириша докашивала свое урочище. Она одним краем уже врезалась в ивовый куст. И скоро метров через двадцать делянка ее заканчивалась. Поработали до 4 часов. Иринка достала из сумки мешок. Наполнила его сырой травой. Привязали с бабушкой его на багажник. Иринка тут же перешагнула через раму. Ноги длинные, оттолкнулась и, вначале неуверенно, виляя рулем от тяжести мешка, постепенно выправились и поехала по тропинке. С правой стороны течет Исеть, с левой — высокий травостой. Джуля огромными скачками, то появляясь из травы, то исчезая в ней, рванулась за Иринкой. Дарья достала из-под копны литовку. Взяла сегодня свою. Пошла к своей лехе. Наточила литовку. Постояла в каком-то раздумье. Опять она одна осталась... Сколько лет она с этой литовкой не расстанется. Наверное, как замуж вышла. Это отец ее им с Василием сделал по литовке. А Дарья и маленькую забрала с собой. В свое хозяйство. Верила, что будет у них помощник. Иногда, когда она недомогала, то брала маленькую литовочку и они с Васей шли косить. А больше всего она косила своей — большой. Она с ней свыкла. Дарья врезалась в травостой на глубину в оберук. Вытаскала траву на чистое место.

Отгребла скошенное раньше сено от края травы, освободила место для нового валка. И повернувшись по ветру, пошла косить оберук. До края не могла дойти. Остановилась поточить косу. Повжикала ласково по лезвию. Опять стала косить. Прошла до края. Только хотела пойти к началу — смотрит кто-то на велосипеде подъезжает к большой копне. Платье сбрасывает, хоть сегодня солнышко редко показывается и ветерок резвый. Идет к ней. Дарья стоит, опершись на черенок литовки. В глазах какой-то туман, а сердце трепыхается как в ладонях оперившийся воробышек. Сил в ногах не стает почему-то. Хорошо что за литовку держится. Валентина бросилась к матери не доходя нескольких шагов. Будто полетела по воздуху. Обхватила Дарью, прижалась к теплой, нагретой солнцем материнской груди: «Мама! Мама-а-а!».

Припала головой к ее голове и крепко, крепко так прижалась... Гладит руками ее согбенную спину. Дарья сегодня шерстяную кофту одела. Мать тоже гладит мяконькие, еще не загорелые белые плечи дочери. Стоят, у обоих будто глаза задернуло занавеской, мутно, не отчетливо видят окружающий мир. Не могут оторваться друг от друга.

Стой, не стой, а надо дело делать. «Пойдем, мама» — говорит Валентина. «Куда?» — не поняла Дарья. «Ну сядем что ли вон возле копны. Посидим, поговорим». «Нет, Валя, некогда сидеть-то. Дома поговорим». Валентина оторвалась от матери. Смотрит на нее и узнает и не узнает. Постарела. Все лицо в глубоких морщинах. Седые пряди выбились из-под платка. Вроде и ростом стали вровень. Хотя Валентина всегда была ниже матери. «Иди, Валя, иди — подтолкнула ее Дарья. — Повороши там сено-то. А я еще покошу немного».

Дарья наточила литовку. И пошла неторопливо новый оберук. Ноги еще чуть дрожали. Глаза плохо видели. Но Дарья надеялась на свой опыт. Руки, ноги и туловище как бы сами включались в привычную им работу... Она и раньше, бывало, все передумает, когда косит. Голова как бы жила отдельно от тела. И теперь то же самое было. Тело слушалось ее и работало, и работало. Литовка мерно ходила вокруг туловища, сваливая траву.

Валентина нашла палки, сделанные Димой для ворошения сена. Взяла одну — подлиннее, видимо Иришкину, и стала ворошить. Солнышко ласково пригревало ее плечи. Ветерок лохматил завязанный сзади хвостик волос. Сильно пахло свежескошенной и подсыхающей травой, ароматами цветущего луга. Чуть поодаль вдалеке — всюду уже стояли хорошие копны сена. Люди работали на своих покосах.

Облака стали меньше. Плыли и плыли друг за другом белые парусные ладьи. Когда облако закрывало солнце, то было видно, как по земле бежит

от него тень. Вдалеке ярко загорались белые платья и рубахи работающих. Кто-то косил, кто-то ворошил валки. А свет все бежал и бежал дальше, зажигал красные и белые крыши домов ближайшей деревеньки с высокими раскидистыми тополями. Ветер заворачивал листья толовых кустов, раскачивал их ветви. Шуршал высохшим сеном.

Дарья косила уйдя в себя. Валентина перевернула все валки и пошла складывать разбросанное с копен подсохшее сено. Копнила всегда мать. Поэтому Валентина не особенно приглядывалась к этим тонкостям. И тут она что-то видно сделала не так. Проходивший с литовкой на плече высокий седой мужчина в расстегнутой на выпуск красной в клетку рубахе остановился. Поздоровался. «Ты что ли Валентина будешь? — Я, а кто же больше. Ты что ли, дядя Миша, не узнал меня. Я только что вот приехала и на сенокос сразу».

— Ну, с приездом тебя, значит. Надо, надо матери-то помочь. А то она все одна базгается. Дай-ко вилы-то». И он взял у нее вилы. Она еще не понимала, в чем дело. Вилы заиграли в его сильных и ловких руках как игрушечные. Он несколькими движениями набрал большущий навильник и, подняв сено, перевернул его и нахлобучил навильник на вершину копны. Он выдернул вилы и сказал: «Вот как надо, Валя, вершить-то копешку-то. Ты немножко неверно сено-то кладешь». И он быстренько еще набрал пару навильников. Копна мигом подросла. Он легонько потрогал ее вилами, оцарапал лишнее сено. Опять набрал навильник и завершил копну. Она получилась очень красивая и аккуратная.

Дарья в это время остановилась наточить литовку. Смотрит — не мерещится ли ей. Там с Валентиной будто Василий что ли копят? — Уж не блазнит ли ей? — испугалась Дарья. — Может разволновалась от приезда Валентины. Да раздумалась, пока косила, вспоминая разное. — Кто-то там работает ведь, правда! — не мерещится вроде.

Дарья бросила литовку и айда по скошенному сену. Бежит, торопится. Ноги заплетаются. Подходит. — «Фу, ты, батюшки. Да это Михаил тут, Василия дружок. — Здорово, Дарья! — кричит подходившей Дарье Михаил, завершая копну и подавая вилы Валентине. — С покосом тебя! С сеном что ли! С первой копной!»

— Ой, не говори, Миша. Некогда что есть и передохнуть. Робим и робим. А у людей-то вон копны-то как грибы растут. А мы вчера вон скопили, а сегодня разбрасываем да сушим. Хватает делов-то, — задыхаясь от ходьбы и волнения, проговорила Дарья. — Тоже пошел косить что ли? — Да, надо посмотреть покос-то. У меня ребята мои трактором все косят. Я только углы обкашиваю литовкой-то. А вы много уже выпластали я смотрю. Здорово робите, молодцы! Видел твоих внучат-то.

— А че на их смотреть-то. Раз подросли, надо в работу запрягать, — подговорила в том же тоне Дарья. — Нас тоже ежих в работу брали, даже еще младше были. Так велось испокон веку. Одне старятся — други подрастают. Давно ли мы были молодыми. Глядишь — вся... жизнь пролетела, и не видели... Все в работе, да в работе. Некогда што есть и подумать об жизне-то. Умирать уж скоро... А мы все робим и робим, — Дарья тяжело вздохнула.

Валентина слушает разговор, да смотрит, то на мать, то на Михаила. Какие они оба ладные и статные. У дяди Миши густая, курчавая с сединой шевелюра. Поблескивают вставленные стальные зубы. Он прикурил папироску, с шумом выпустил клубы дыма. Озирается вокруг: — «Да, летит время. Надо бежать, поработать».

Валентина все не может им налюбоваться, рубаха расстегнута, весь загорелый, сухощавый. Глаза с хитринкой. Поблескивают, ощупывают аккуратное неизрожденное Валентино тело. Она все понимает, не девочка... Видит, что тоже нравится ему. Довольная, как все женщины, когда ими любуются, когда их любят... Вот ведь как Бог придумал. Понравятся друг другу мужчина и женщина — и ничего их не может удержать. Словно опутает их двоих невидимая сеть. Или какой-то общий ток соединит невидимыми проводами. И держит так, пока они не почувствуют это оба...

Валентина вон только что минуту назад любовалась на обоих. — И почему они не полюбили друг друга? Какой бы у ней папка был красивый? Своего она не помнит совсем...

А как только Михаил чиркнул глазами по ее обнаженному телу, будто искры посыпались, когда встретились их взгляды. Валентина и забыла сразу, что он ей в отцы годится. Ей самой-то вот уже под сорок подбирается. А как говорят: «Бабий век — сорок лет». Тоже вроде жизнь пролетела. Тоже ничего хорошего и не видела. Муж, Николай, когда дома, то чуть не на коленках перед ней. «Ты у меня самая лучшая!». А как уйдет за порог. Все. За каждой юбкой готов бежать. Валентина уж не знает, что и делать. Расходиться страшно. Надо двоих ребят поднимать. Одной-то не шибко сладко. Да и времена-то наступили — не позавидуешь. Мама вон почти всю жизнь одна мается.

И Николай все нервы измотал. Да еще стал выпивать. Так и пролетает жизнь. Откуда здоровье-то появится. Да еще работа вся на нервах. Вся жизнь вверх тормашками перевернулась. В школе учеников-то и не знаешь чему учить.

Съездит Валентина на курорт, отвлечется на месяц от повседневной не-

рвотрепки и опять в упряжку на целый год. Работа в школе да дома. Дома да в школе... Ох! Как все надоело! Бросил бы все к чертям собачьим, да уехал бы куда-нибудь к черту на кулички... Вот и отъездила Валентина по курортам. По нынешним временам это стало доступно только бизнесменам, да прочим богатым людям, а не учителям. Вот и приехала она к матери. Да и обещала матери помочь на сенокосе. А то она все одна да одна...

Николай не поехал. Они нынче взяли землю. Все вон-че хватают, не по одной, а по две и по три дачи у многих. Вон соседка рассказывает, что продала одну дачу и на эти деньги дочери свадьбу справила. Да еще две дачи осталось. Они тоже решили взять землю. Хоть какие-то овощи свои будут. Правда, работать придется Валентине одной с ребятами. Николай не шибко разбежится. Остался дома нынче. Будет строить дачный домик.

...А тут какая красота. Воздух — дышишь и не надышишься. Не то что в городе — одни газы. А здесь он и сладкий, и вкусный, и пахнет цветами и медом, и вольным ветром. Облака к вечеру розовеют. А небо все такое же нежно-голубое. Родное и знакомое с детства. В далих бирюзовых истаивают березовые перелески. А далеко, далеко вокруг четко все видно. И деревеньки одна за одной, будто нанизаны на голубую, извивающуюся ленту Исети. А луг! С травами и копнами сена. А люди! Такие все ласковые и добрые. Улыбчивые и красивые. И всех их знаешь. Ну как их не любить! Да и все, все вокруг!

О, Боже. Зачем Ты меня вырвал из этой красоты? Зачем ты мучаешь так меня? Ну что Тебе от меня нужно. В чем я провинилась перед тобой? В том, что я не верю в Тебя? Да? Но я хотела бы поверить! Но как это теперь сделать? Жизнь-та уже прожита почти. Валентина задумалась о своем... И не слышала о чем говорила мать с Михаилом. Михаил докурил горькую папироску, затушил о землю. Взял свою литовку, закинул ее на плечо и зашагал по луговой тропке. Вскоре скрылся за кустами.

Валентина и не подозревала, что такая же тайная ниточка соединила когда-то ее мать с Михаилом — с папиным дружкой. Но у Михаила была своя семья, у Дарьи — своя. Вот так постоит где-нибудь, поговорят, насладятся этим свиданием. Поговорят о том, от сем, о домашних делах. Но больше всего расскажут друг другу их глаза... Которые замечают любые изменения в лице, в фигуре, в душе...

Дарья тоже взяла вилы и пошла собирать сено возле других копен и складывать его в копны. «Нет, маме далеко до дяди Миши, — подумала Валентина. — Где ей теперь за мужиком угнаться. Да, сдала мама. И сильно». Валентина вздохнула. — «Иди-ко, Валя, покоси вон тут рядом по навильни-

ку на каждую копну, — попросила Дарья дочь. — Вдруг дождь будет опять. Чтoб не промочило». Это им Михаил подсказал, чтoб покрыли копны сырой травой: дождь лучше скатится и не промочит. Валентина взяла маленькую литовку (Иришкину теперь). Подошла к травостоя. Осмотрелась кругом. «Как тут хорошо! - все никак не могла успокоиться она. — Правильно. Вот молодец, мама! Что это я сама не вспомнила, что надо попробовать покоситься. Не разучилась ли? Все некогда к матери приехать да помочь ей, — казнила она себя поздней мыслью».

Она стала точить косу. Оселок не очень-то уважительно ее слушался. Все норовил соскользнуть. Один раз она чиркнула рукой возле самого лезвия, аж сердце захватило, сжалось от страха. И под ложечкой похолодело. Валентина расставила ноги. Солнце припекало в спину. Трава наклонилась по ветру, почти лежала по ходу оберука. — Хорошо будет косить, — вспомнила Валентина. — Когда трава против движения лезвия наклонена. Она размахнулась. Трава затрещала под косой, будто проволоочная. Уже подсохла к вечеру. Да и перестоялась уже. Давно пора косить...

Она провела косой до выхода. Второй, третий раз размахнулась и пошла потихоньку, сильно наклоняясь вперед. Как бы тянулась вся за лезвием косы. Она даже забыла, что надо бы почаще точить литовку, тогда она и косить будет легче. Она сразу вспомнила себя молодую, как они с матерью целый день на жаре косили. Бывало даже до ненависти доходило к этой траве. Ну никак не хочет падать. Стоит, как стальная проволока.

Валентина прошла рядок. Наточила литовочку. Пошла снова. Уже поуверенней. Собрала руками скошенную траву. Трава дала сок, сильно запахла. Закружило голову... Такое чудное детство и юность на мамином покосе.

Принесла траву. Дарья стала накрывать ей копны. Потом надергала сухой травы из-под одной копны. Попрятала кое-что тут, чтoб домой не тащить. Валентина еще подкосила немного. Набрала мешок свежей травы и привязала на багажнике. Оделась. Дарья осмотрела свой покос еще раз напоследок. И они пошли домой. Валентина вела велосипед. Мать шла, чуть согнувшись, сзади. Тяжелые руки повисли вдоль туловища, давили на плечи. Река невозмутимо текла рядом. Редкие рыбаки безнадежно ждали поклевки.

Так прошел четвертый день покоса. А сколько их было и будет... Небо на Западе, куда они двигались, сильно засинело. Солнышко спустилось в эти тучи. Но ближний край был еще освещен и светил вместо солнца. Начинало смеркаться.

Пока Дарья с дочерью шли до дому, туча придвинулась. Оказалась поч-

ти над головой. Надвигалось что-то тревожно холодное и безразлично-урюмое. Но у самого горизонта туча кончалась. И постепенно над землей появилась и увеличилась золотистая полоска. Там небо плавилось, бурлило клубами огня и облаков. Там был просвет. И это обнадеживало Дарью. Что завтра, может быть, будет сланный солнечный денек...

И они, все вместе, с Валентиной и внуками, опять хорошо и всласть поработают на своем покосе...

Ветер к вечеру стих. Но гуча неотвратимо надвигалась, правда, сползая одним краем к северу. «Может пронесет» — подумала Дарья. Но в это время как взвосьет да как громыхнет, что она чуть не присела. И забарабанили по стеклу крупные капли.

— Ну, язвие его, принес лешак опять, — сердито бурчала Дарья на дождь. — Только просушишь сено, а он тут как тут. Ну, не сколь не терпит.

Валентина вышла за матерью в сени. Выглядывает из дверей, смотрит на небо. А там черно, черно, и просветов нигде не видать. А дождь льет как из ведра.

— Вот они сеногнои-то. Всегда так. Только накосишь — дождь. Только просушишь, переворошишь — дождь. Не успеешь скопнить — опять дождь. Хоть небольшой да ленет, подпортит сено. Еще долго сверкало и гремело. Валентина уж и забыла, когда видела и слышала грозовой дождь. Хоть мать и ворчала на него, но Валентине он нравился. Вспоминалось детство. Захотелось так же, как тогда, побежать под этим ливнем. Она уж было решила шагнуть через порог на крыльцо и выйти во двор. Постоять под дождем, подставить ему свое лицо, умыться, освежиться душой и телом...

— Ты куда это наострилась? — почувствовала ее намерения мать. — Не вздумай под дождь выйти. Ты че это заболеть захотела? Счас не то что раньше. Побегал под дождем по лужам, вымок весь, обсох и хоть бы что тебе. Счас уж нету солнышка-то. Да и отравя всякая в этих дождях. Вон че пишут в газетах-то, что всякая кислота в ем. Заболеешь, а кто косить-то будет? Я вон как-то по грузди решила сбежать и попала под эдакой же ливень. Лонись я отвела сенокос-то, поправились с сеном-то и айда в лес. Люди-то уж давно грузди-то таскают, а я все с сеном вожусь, никак не могу пособиться. Ну, ково же я одна, дак. Базгаюсь на своем-то покосе. Набрала тогда груздей дивно. Хорошо напала в одном месте. Я уж свои-то места хорошо знаю. Бегу туда, а грузди-то меня уж заждались, сердешные, повывлазили. Все на виду. А так-ту я их всегда беру, когда они еще в земле или под листом. Обшарю свои-то места руками да на коленках обползаю и наберу ведрко. Мне хватит пока.

Ну и застало меня на обратном пути вот таким же дождем. До нитки что есть вся смокла. Домой пришла, переделалась. Думаю, что ничего, все обойдется. Куды тебе, захворала все-таки. Несколько месяцев не могла направиться едой-то. Никакого аппетита не стало. Я и к фельдшеру нашему, к Родионовной-то, ходила. Она мне таблеток надала. А все кашляю, все кашляю. Я на ночь-то все луковку под подушку клала. Как закашляю, откушу маленько. Кашель-то поутихнет. Опять посплю немного. Лежу и думаю. «Вот умру скоро. И никто не узнает, что я мертвая. И буду тут, дома, лежать несколько дней. Ко мне счас мало кто заходит. По субботам, правда, бывают, когда я баню истоплю. Я уж и всякую траву запариваю. Пью как чай. Счас маленько полегче стало. С едой-то хоть направилась. Все ем. А то никак не хочу. Да и счас некогда хворать-то. Робить надо. «Как потопашь, так и полопашь» — не зря пословица сложена. Поработаешь, да пропотеешь хорошенько, так все хвори с потом и выйдут. Шибко я люблю сенокос-то. Я на нем в самом деле аж выздоравливаю.

Дарья сегодня ночью почти не спала. Долго уснуть не могла. «Все че-нибудь да лезет в башку-то. Вот Валентина приехала. Опять одна. Поди плохо живут с Николаем. Она шибко-то не разговорится. Вся в меня. Похудела вроде. Раньше-то покрупнее была». Потом Дарья примешивать квашню вставала. Потом че-то пить захотела. Че-то в горле сушит. Четыре дня они работают на покосе. А пьет она мало. Не хочет. Попьешь дак хуже. Все будешь пить хотеть. А Иринка тоже мало пьет. Знает, что потом пить еще больше захочется. Один Димка зусит. Не отходит от воды-то. Чем больше пьешь, тем больше хочется. И потеешь сильно. Да переживает она, что парень вон приболел. Температурит вроде. Голова у него горячая. То ли перекупался, то ли холодного квасу из холодильника насопса, паршивец. Нароботаются на покосе-то, а потом в речку скачут с Иринкой, разогретые-то. А вода-то нонче не больно нагрелась. Все не было тепла-то. А к этому квасу как присосеешься, придешь с жары-то, с покосу-то, что оторваться не можешь. Пил и пил. Она сама вон не может утерпеть, чтоб квас маленько степлился. Так и тянет к нему. Дарья старается поменьше пить воды-то. Чтоб не потеть. Поэтому суше и суше с каждым днем становится. И Иришка тоже подсохла, хотя у ней жиру-то небольно много в этом возрасте. Если уж больной человек, когда в организме что-то ненормально, то бывает и с молоду шибко толстые. Да если мало физически работают.

Потом Дарья все-таки провалилась в сон на часик-другой. В четыре-то уж опять проснулась. Печь топить да стряпать. Гостья у ней. Дочь приехала. С утра погода не очень баская была. Но облака висели высоко и видне-

лись проплешины неба. «Пусть поспит Валентина с ребятами, — решила Дарья. — Дочь-то ведь с дороги, да еще вчерась на покосе поробила. Сено-то сегодня ворошить надо. Намочило опять дак. Будь он неладен этот дождь-сеногной. А то бы сегодня можно было не одну копну бы поставить. Ан, нет. Не дает».

Дарья отстряпалась. Запахло хлебом. Валентина сразу проснулась. Улышала хлебный запах, учуяла. Принюхивается. «Ах, хорошо-то как пахнет, а, мама! Никогда не забуду этот запах! Самый родной, самый желанный дух отчего дома и мамы вместе с ним!».

Валентина лежит, не встает. Раз мать не будит, значит можно еще понежиться. Уснуть уж не уснешь. Значит надо вставать. Хватит работы по хозяйству. То уборка, то стирка. То половики надо перемыть сходить на реку. То скотину напоить, накормить, да убрать за ней. Да подоить. Да в огороде. А самое главное — сенокос. Все дела на потом оставляют, кроме скотины и прочей живности.

Валентина встала, оделась в старенькое свое платье. Пошла готовить завтрак, помогать матери. Стала делать окрошку, чтоб с собой взять на сенокос. Забежала к Дарье Галина. Она узнала от Михаила, что у ней дочь приехала. Вот и прибежала поглядеть, да городские новости послушать.

— Здравствуй, здравствуй, Валентина. О, да ты все молодеешь и молодеешь! Все такая же аккуратненькая, как девка. Хоть счас замуж, что ли так? — Ага, тетя Галя! — подговорила Валентина смеясь.

— Ну бабы, ну бабы, — ворчит Дарья. — Все-то бы вам взамуж бежать. У самих уж невесты дочери. — Ох, и длинношная у тебя, Валя, дочь-то, — не умолкала Галина. Только худоба страшная. Ты вот не екая почему-то росла.

— Так ведь есть, видно, в кого, — не удержалась Дарья. То ли я маленькая. И статью, и характером-то што есть как-то вся в меня уродилась, — довольная внучкой, не унималась бабушка Даша. До того покладистая да рассудительна. И всю работу может сделать одна. И понукать не надо.

Дарья разливает молоко по стеклянным банкам. Пахнет парным молоком, коровой. Дарья все поглядывает на спящую внучку да себя молоденькую вспоминает. Но многова в Иришке не понимает. Какая-то она шибко загадочная. Все молчком. Как инопланетянка. Скулы ввалились, загорела. Как глянет, сверкнет белками глаз, аж не по себе становится. А она только скромно опустит пушистые длинные ресницы да головой тряхнет. Чтоб челка глаз не закрывала. И дальше своим делом занимается.

Женщины обговорили все новости и в деревне и в городе. Видимо, что нигде не сладко. Везде туго. Но как-то живут люди. И машины, и квартиры

покупают. «Крутятся», — как теперь выражаются. Спекулируют или безнесом занимаются. Все слова переиначили. Что было белым — сделали черным... И никто горбатиться не желает. Да, времечко довольно путаное. И мутное. Вот и успевают рыбку ловить в мутной воде... Больше каждый сам по себе стал. Выживешь — хорошо! И не выживешь — никому до тебя дела нет. Будто ты и не живой человек, не живешь на этом свете, не существуешь. Крутись как можешь, карабкайся. Цепляйся зубами за воздух. Но кто с капиталом-то, кто успел нахапать пораньше, те все больше стаями живут. Или бандами... Так легче и выжить... И главос — пожить всласть...

Куда идем? И зачем? Ничего не понятно?... Под конец разговора Дарья перевела тему. Заговорила о покосе — о том, что болело. Что вон Димка занемог. Затемпературил. Иришка с Димкой тоже встали. Услышали разговоры. Димка вспомнил, как его вчера бабушка будила. А он ничего не понимает. Голова тяжелая. Глотать больно. И все тело ломает. Нароботался. Бабушка потрогала голову — горячая. — О, дружок, так у тебя температура. Пошла в сени, принесла трав всяких. Поставила воду кипятить. — Сейчас мы тебе дадим попить и ты скоро поправишься, — как бы про себя говорила вслух бабушка. Вода вскипела. она запарила траву и поставила на шесток настаиваться.

Димка поглядывал из-под одеяла как-то виновато на Иринку с бабушкой, которые сидели за столом и завтракали, собираясь на покос. Бабушка дала ему в постель запаренного чаю из трав. чтобы он пополоскал во рту и выплюнул в тазик. А потом проглотил бы немного внутрь. Димка все исполнил и откинулся на подушку обессиленный и смотрел в потолок. На матке — брус поперек потолка — торчал штырь с кольцом. Бабушка рассказывала, что за кольцо подвешивали зыбку на пружине. В зыбке лежала маленькая лялька — его мама. Когда ребенок начинал плакать, зыбку за веревочку дергали и ребенок успокаивался. Димке тоже захотелось полежать в такой зыбке и немного всплакнуть. От болей в горле и во всем теле. И чтобы зыбку качала его мама и напевала бы песенку. «Ну, почему она долго не едет к нему?». Он остался один дома. А бабушка с Иринкой опять ушли на покос. Иринка взяла велосипед из сарайки. Бабушка привязала к раме свою литовку. Иришкину они спрятали на покосе. Бабушка не оставляла свою литовочку. Она не хотела с ней расставаться. Она у ней была как живая. Сама, кажется, косила. В минуты недомоганий Дарья останавливалась, уставшая, точила оселочком ее и ласково приговаривала: «Ну, что, матушка моя, усталась? И я тоже маленько уплюхалась. Давай постоим немного, отдохнем. Я тебя наточу хорошенько и ты опять как свеженькая будешь. Опять поро-



бим с тобой маленько. Покосим немного. Погода-то вон какая славная стоит».

Солнце грело, старалось из всех своих сил. Белые облака-корабли неторопливо плыли в безбрежном небе. Ветерок ласково прикасался к седым прядям Дарьи, старался разгладить ее глубокие морщины на лице, похлопывал дружески по плечу и словно приговаривал: «Ничего, Дашенька, крепись. Немного осталось. Как-нибудь давай эту леху окаровой. Отдохни, да опять покоси. Потом опять отдохни». И улетал дальше. Шелестел в ближайших ивовых зарослях, серебрил их, поворачивая листочки их тыльной стороной. Дарья в раздумье стояла и смотрела вслед ветру, который только что был тут. Глянь, а он уж бежал дальше, качал травы. Волна за волной катили по лугу, стараясь угнаться за солнечным лучом. Который также, как и ветер, навещал всех работающих на сенокосе людей. Люди спешили прибрать сено. Кто копнил, кто уже метал сено в зароды, подвозя копейки на лошади. Димка очень мечтал прокатиться на лошадке. Поскакать на коняжке навстречу ветру и солнцу, чтоб волосы трепетали на ветру, а в лицо бы ударяли волны горячего вечернего воздуха, пахнущего луговыми травами и цветами. А сказочный конь бы нес его в неведомые дали, вслед кудлатым облакам по бесконечным просторам голубого неба, по всей звездной вселенной...

Отдохнувшая Дарья брала литовку и снова принималась косить. Так пролетали минуты, часы и дни. Не успеешь оглянуться, а уж проскочил еще один день. Опять вечер. Надо домой бежать. Ей все казалось, что она мало сделала. Мало накосила, мало накопила копен. У людей-то вон и вон уже сколько зародов стоит. Только она, неумеха, никак не может поправиться со

своим покосом. Пролетала не одна пятидневка, прежде чем она, наконец, разделялась со своим урочищем. Она почему-то мерила недели не семью днями, а пятью. У ней не было ни субботы, ни воскресенья. Были только дни, отведенные ей Всевышним, чтоб заготовить для своей коровушки-кормилицы сена на зиму. Тогда и зимовать-то не страшно. Ни холодные северные ветры, ни трескучие сибирские морозы, ни сам черт не страшен ни Дарье, ни ее корове. И они вместе перезимуют. Коровушка не даст ей помереть с голоду. Дарья не будет зависеть ни от непринесенной вовремя пенсии, ни от Российского правительства с его все поднимающимися скачущими ценами, с его экспроприрующими у населения сбережениями, с его все новыми и новыми экспериментами над простыми людьми, с его экспериментами на выживание всего рабочего люда...

Сегодня они пришли на покос втроем. Галина изъявила желание помочь Дарье. А она опять не отказалась: «Ты че это, Галя, тяжело ведь косить-то, — увещевала ее Дарья. Это нам уж некуда деваться, дак приходится каждый день робить. Устал, не устал, а надо прибирать сено-то. — А че, — будто не понимала Галина. — Че я не робливала ли че ли? Вместе ведь с тобой ишачили в колхозе-то. Я ишо передовой свиаркой тогда была. Ты ли че ли забыла? — наступала на нее Галина. — Как же, помню. Мы с тобой тогда все соревновались. Вызывали на собраниях-то на соревнование друг друга (А медаль за труд в Великой Отечественной войне все-таки дали тогда Дарье. Очень она хотела, чтоб медаль-та ей досталась).

Правда Дарья все-таки завидовала Галине, потому что у той на протяжении всей ее жизни на доме висела фанерная табличка: «Здесь живет знатная свиарка»... Ударник коммунистического труда». А Галина опять неприязненно относилась к Дарье, потому что она перехватила медаль. Да и почувствовала, что ее Михаил поглядывает в Дарьину сторону... Но виду не подавала. Галина с Михаилом переехали в их колхоз из другого района. Оба красивые да видные. Быстро освоились на новом месте. Михаил подружился с Василием — оба шоферили на «ЗИСах». Иногда собирались на гулянках вместе. Галина каким-то шестым бабьим чувством подозревала, что Дарья нравится Михаилу. И что Михаил тоже не безразличен Дарье. Но Дарья старалась спрятать это чувство подальше от людских глаз.

Галина с Михаилом участвовали в самодеятельности. Михаил играл на гармонии. Потом баян освоил по самоучителю. А Галина знала много частушек. Была хорошей плясуньей. Ни одна гулянка или свадьба в деревне не обходилась без гармониста. А где Михаил, там и Галина. Она боялась отпустить его одного. Чтоб не спился и не забрел куда-нибудь, к какой-ни-

будь... Работать они тоже умели. О них писали в районной газетке. Им это очень нравилось — быть на виду, на людях. Постепенно вошли во вкус. И как прилипло — до самой пенсии их фамилии повторяли, ставили в пример. Трясли и трясли... Как будто все другие плохо работали...

Выйдя на пенсию, Дарья и Галина стали больше дружить. Галина часто навешала Дарью, рассказывая ей все деревенские новости. Тем более, что жили они на соседних улицах, в одном краю. Когда Василий трагически погиб, где-то через год Михаил как-то вечером заглянул к Дарье. До этого он все больше днем забегал, чем мог помогал Дарье. А тут он был выпивши. Дарья почувствовала, что его привело. Михаил шел видно с работы и решил зайти на огонек. Валентине шел тогда второй годик. Михаил и Дарья оба понимали, что их тянет друг к другу, но Дарья не хотела такого счастья. Дурной славы она опасалась больше всего. Всю жизнь не отмыться будет. Как на глаза людям показаться. А как Галине смотреть? Она все это объяснила Михаилу. Он сидел притихший, как провинившийся школьник. Все понимал. Но душе не прикажешь. Застряла у него Дарья где-то глубоко внутри и он ничего не мог с этим поделать. Что-то сжимало его сердце, давило, не давало покоя. Он не мог о ней не думать. Ноги сами приводили его в ее двор. Покурив, он вскоре ушел. От семьи ему не уйти. Дома трое сыновей. Да и Галина у него баба не из последних. И яркая. И крутая. Это бы дело она так не оставила. Поэтому поворачивать с накатанной колени, ломать устоявшуюся жизнь тоже не было резона.

Но не перестал забегать к Дарье, и особенно тогда, когда она действительно его просила чем-нибудь помочь. Без мужика что-нибудь да ломается. Галина иногда подковыривала Дарью. — И чем это ты, Даша, моего мужика приворожила? Что-то его как муху на мед к тебе тянет! — Да ничем. У меня просто знакомых мужиков больше нету. Вот и обращаюсь к твоему. Тем более, что он дружок моего Васи. — Так и уж нету — не унималась Галина. Мужиков-то полна деревня, а тебе обязательно моего подавай! Ты давай не шибко-то! А то я мигом обоим рога пообломаю, — грозила она. И тут же смеялась: — А че, Дарья, давай я его тебе в аренду сдам на недельку. Он тебе все и отремонтирует, что сломалось. Мигом все прочистит... Он у меня толковый на это дело..., а сама хитро улыбается и остро поглядывает на Дарью, как же та будет изворачиваться; Да еще частушку споет:

Грубейанка, грубейанка,
Грубейань поди ладом.
Давай болечку разделим —
Тебе ночью, а мне днем!

Гармонисту этому
Я давно советую,
Предложеннице вношу
Любить подруженьку мою.

— Не надо мне, Галя, ничего прочищать. И твоего мужика тоже не надо. Ты же меня знаешь. Я на это никогда не пойду... Чужого счастья мне не надо. — С горечью вздохнула Дарья.

— Не зарекайся... Бывает и на старуху проруха, — не унималась Галина.

— Ладно, Галя, хватит об этом, а то поссориться можем.

— Ну хватит, дак хватит. Это я так, к разговору. Чтoб расшевелить тебя. А то больно ты какая-то невеселая ходишь. Живи повеселее. Смотри вокруг себя-то...

— Да вон с покосом все никак не могу управиться. То опять дожди мешают. А я че-то пристала уже. Всего-то еще четыре копейки накопили. Да Димка вон заболел. Простыл. Я вначале-то ему не разрешала купаться. А Иришка купается и ему охота. Я разрешила. Вот и наделала делов-то. Теперь казнию себя. И Валентина на покос обещалась, а все не едет... Я в прошлом году после покоса-то сильно простыла. За груздями ходила. Заваривала траву да пила. Окостыжилась немного. А косить-то стала. Тяжело. Уставать стала.

— Ну ты че сразу-то не сказала. Я счас литовку на плечо и пойдем. Еще Михаила можем забрать. А будет время ты нам картошку поможешь выкопать. Косить-то и метать мы сами все сделаем. У нас ребята на тракторах робят. Мы вручную-то уж не помним когда косили. Как говорят: «Один горюет, семья воюет».

Они пришли сегодня на покос втроем. Галина тоже стала косить. Иринка до обеда закончила свою делянку, дошла до кустов. Дарья косила в своем дальнем углу. Расширяла прогалызину. Галина стала косить не далеко от Иринки, возле изгороди под зарод. Когда Иринка закончила, Дарья велела ей набрать свежей травы в большой полиэтиленовый мешок. Иринка натолкла травы в этот объемный мешок и потащила, сгибаясь, к велосипеду.

Галина тоже пришла к ним. Села на скошенную траву, вытянула ноги. Дарья достала сумку с провиантом, постелила полотенце, достала еду. И тоже стала приземляться. Спустилась вначале на коленки, встала на четвереньки, только после этого повернулась тихонько и села. Но и сидеть что-то было тоже тяжело. Она прилегла на один бок, упершись на локоть. А тут Иринка мешок приволокла. Опять надо вставать. Фу ты напасть! Только устроилась... Иринке-то одной не поднять мешок. Дарья встала с трудом.

пошла поднимать да закреплять бечевкой мешок на багажнике. Они вдвоем еле подняли этот мешок. «Ох и набуткала Иринка травы-то!». Долго они ворочали его, чтоб найти равновесие. Чтoб Иринке было удобнее его везти. И Иринка пошла домой, ведя велосипед в руках. С таким грузом не поедешь. Живо в реку затянет.

Отправив Иринку домой, Дарья с Галиной пообедали, перекусили малость, чем Бог послал. Немножко посидели еще, отдохнули. И опять пошли косить. Косили долго. К вечеру сели отдохнуть еще. Смотрят — Михаил идет с литовкой. Подошел к Галине, рубаха нараспашку. Покуривает. — Ну что, девки, берете в свою бригаду, а?

— Давай, давай, — говорит Даша. — Нам такие орлы шибко глянутся. Становись с нами рядом. Они поднялись. Михаил встал в середку. Первая Галина. Сзади Дарья. И пошли они в три оберука пластать. Рядом с мужиком у них и силы откуда-то снова появились. И сразу моложе себя почувствовали. Будто время вернулось в юность... Быстро выкосили большую ляху. Михаил легко забросил литовку на плечо: «Надо тоже сбегать поглядеть на свой покос. Мои ребята скоро заедут на тракторе косить. Мигом выпластуют». Он посмотрел на небо. Тучи уходили.

— Ты тут еще покоси, подмогни Даше-то.

— Без тебя знаем че делаем, — опять заревновала Галина. — Иди, иди не оглядывайся.

И Михаил ушел. Дарья не обращала на них внимания. Но в душе у ней появилась теплая струйка, которая разливалась по всему телу, наполняла мышцы новой энергией и благодарностью к Галине с Михаилом. Они выкосили сегодня дивно. Второй день к вечеру собирались тучи, лил грозовой дождь. К непогоде у Дарьи побаливала голова и ломило суставы. Но сегодня она забыла об этом, опять почувствовала себя молодой, когда Галина согласилась помочь. И когда Михаил тоже покосил немного. Это прибавило ей сил и она не заметила, как выровняла почти всю ширину покоса. Теперь Дарьин покос смотрелся широким чисто прокошенным полем. Валки лежали объемистые, подсыхающие. Видна была большая проделанная работа. Останется теперь просушить и сметать. Если погода даст. Остальное теперь она как-нибудь одна тут дотюкает. Может Валентина придет скоро. Успеет тоже покосить, наробиться. Настроение у Дарьи поднялось. Вечерело. Мелкие, почти прозрачные облака висели над головой. Над горизонтом курчавились розоватые облака. Кое-где синеватый их росчерк перечеркивал большие освещенные массы. Должна еще постоять погода-то, — подумала Дарья.



Как только Дарья получила телеграмму от Валентины, так что-то ноги тяжелые стали. В груди закололо. Воздуху стало не хватать. А перед этим долго лежала, не могла уснуть. Раздумалась так, что вслух стала разговаривать. Будто Валентина рядом с ней на кровати сидит. И они разговаривают о том, о сем. Потом Дарья почувствовалась: «Да че это я? Совсем что ли ополумела? Сама с собой разговариваю. Вот придет Валентина, тогда и наговоримся. Спать надо, скоро уж вставать, да управляться. Да на покос. А когда получила телеграмму, то вовсе и не спала всю ночь. Вставала да квашню

примешивала. Потом печь растопила. Да стряпать стала. А там со скотиной время подскочило управляться надо.

Забегала Галина. «Не приехала еще гостья-то?» — «Нету еще, — гремела ухватом у печи Дарья. — Только вон телеграмма пришла. Не седни-завтра приехать должна». Дарья достала с шестка запаренную траву, налила полстакана.

— Тебе не налить ли? — предложила она Галине.

— А че это у тебя? Косорыловка али бормотуха? — рассмеялась Галина.

— Ты че, девка, я уж и не помню когда и пила-то. Не до этого счас.

Да и отпили мы свое-то. Не те времена пошли. Не от чего веселиться-то. Трава это у меня напарена. Внучек заболел. Простыл. Горло обметало. Зверобою вот напарила, мать-мачехи, подорожник тут и душица. Да и сама что-то сегодня недомогаю. — У людей-то вон уж зароды стоят, а у нас только четыре копешки. Сегодня бы подвалить надо, а солнышка нету. Не ешит.

— Дак че, Дарья, берите меня с собой. Я тебе помогу маленько, не разучилась еще косить-то. Я и Михаилу скажу. Пусть он после работы тоже прибегат. Вот и подвалим побольше.

— Да неудобно, Галя. У вас своей работы полно. Тоже поди косить-то надо.

— Надо, конечно. Да у нас робята все трактором косят. И гребут. Даже метают механизмами, а не вручную. Так что за нас не беспокойся. Я счас за своей литовкой сбегаю. Ждите меня.

— Мы еще не завтракали. Приходи, мы не сядем без тебя за стол.

Дарья поправилась с хозяйством. В груди маленько отлегло. Голова была еще тяжеловатой. Вскоре Галина пришла. Сели есть. Пошли на покос втроем. Небо сплошь затянуто облачностью. Ветер переменялся с западного на северный, откуда и принесло эти серые, низкие лохматые тучи. И стало прохладней. «Лучше, — подумала Дарья. — Хоть косить будет не так жарко. И голове может легче будет».

Иринка взяла мужской велосипед. Дарья, бывало, все на нем на покос ездила, когда помоложе-то была. С работы придет — села на него и на покос. Пластает там, пока темно не станет. А летом-то долго светло. Так что хватало времени наробиться...

Дарья где-то возле тока подобрала большой кусок черной полиэтиленовой пленки и сшила из него мешок, в котором возила на тележке свежую траву.

Она привязала на багажник этот мешок и Иринка уехала. Приезжает до-

мой, а там мама приехала. Димка и хворать перестал сразу. Соскочил, пригает от радости. Мать всяких гостинцев — сладостей навезла. Кепку с длинным козырьком и с орлом спереди, написано «Калифорния». Он уже в этой шапочке крутится возле матери.

Валентина переделалась, взяла велосипед и поехала к матери на покос. Легко крутились педали, ветерок ударял в лицо, развевал волосы.

... На следующий день пришли на покос поздно. Утро было пасмурное. Только к 10 часам разгулялось маленько. Стали сено ворошить. Потом Валентина с матерью пошли косить, а Иринка продолжала переворачивать. Димку опять оставили дома. Он еще был слабый.

К обеду сметали одну копну. Дарья отправила Валентину с Иринкой домой, чтоб отвезли на тележке сырую траву, опять нагрузили огромный черный мешок. Дарья перекусила огурцом с хлебом и яичками. Запила молоком и стала ворошить оставшееся сено на Иришкиной делянке. Скопила небольшую копешку.

Валентина приехала на велосипеде. Привезла Димку — никак не отстал от матери. Дарья, конечно, поругала Валентину. Димка не подходил к ним. Сел возле Иринкиной копны в тень, разглядывал что-то на земле. Солнышко совсем не показывалось. У горизонта синело. Дарья торопилась. Набирала тяжелые навильники и несла почти наугад к копне — сено закрывало голову. Валентина таскала сено руками. Димка тоже решил помогать. Взял грабли и стал подскребать вокруг копны упавшее сено. Бабушка не обращала на него никакого внимания, продолжая таскать сено в копны. Скопили примерно третью часть покоса. Остальное сено лежало в валках. Валентина пошла косить свежей травы на верхушку копен, чтобы прикрыть от дождя. Так пролетел еще один, шестой день покоса.

С утра все стали ворошить сено. Даже Димка сегодня работал с удовольствием. После обеда поставили еще 3 копны. Стало всего 6 копен. Дарья с ребятами ушли домой, а Валентина осталась еще покосить. С утра было облачно. Все небо было серым, казалось, что опять будет дождь. Но к вечеру ветерок протащил тучи. Небо очистилось. Запригревало солнышко. Валентина целый день работала в плавочках. Наслаждалась свободой. Она втянулась за три дня в крестьянскую работу. Вспомнила юность, как они с матерью вдвоем косили. Тогда она очень уставала. А сейчас была в цветущем возрасте, полная физических сил. Косила с удовольствием. Думалось во время работы легко и чисто. Конец трудной работы приближался с каждым днем. Возле их покоса тоже работали люди, косили, ворошили сено, копнили копны. Вдалеке уже стояли свеженькие аккуратные стога. Валентина одна

косила и косила, наточит литовку, постоит, полюбуется на голубые просторные дали, на звонкие небеса, на свою работу — на скошенную траву и, довольная, начнет снова шагком за шагом продвигаться вперед. А устанет — остановится и, опершись на черенок, задумается о чем-то своем. Переминается с ноги на ногу, поворачивая свое упругое тело под лучами еще хорошо пригревающего солнца. Проведет рукой по разлохмаченной прическе, по плечам, по талии, отмахиваясь от надоедливых мух и паутов. Кругом снуют золотистые и зеленоватые стрекозы, беспокойно порхают белые бабочки. Терпко и волнующе пахнет скошенной травой, разогретыми луговыми цветами. Стоят еще летние, но уже с легкой грустинкой теплые деньки. На таловых кустах появились первые зажелтевшие пряди листьев.

Очнувшись от забытья, она спохватывалась и точила косу. Кругом ни души, все, кто был на лугу, уже ушли домой. Валентина, казалось, осталась на этой земле одна-одинешенька. Дело спорилось, но силы тоже таяли. Она останавливалась все чаще. Солнце стояло еще высоко, но уже меньше пригревало. Но косить все равно было жарко. Пот со лба стекал на нос, и капельки его слетали после каждого замаха косы.

Она останавливалась, точила косу, отпыхивалась. Но стой, не стой, а время шло. Приближался вечер. Она вжикала несколько раз по лезвию косы оселком, расправлялась с присосавшимися комарами и снова начинала махать косой. Лезвие мелькало перед глазами, трава падала, отлетая в сторону, укладываясь в пухлый валок. Даже коса устала, не желала косить, она досыта наелась этой зеленой травы, а Валентина все не останавливалась, подбадривая косу, просила еще покосить маленько. Называла ее миленькой, доброй помощницей и кормилицей. Валентина ласково точила ее брусочком, поглаживала рукой по тыльной стороне железки, как бы по ее согнутой спине и приговаривала: — Ну, миленькая, еще чуток, еще немножко покосим давай. Скоро закончим. Вот тогда и отдохнем. Ты возьмешь отпуск аж на целый год! Будешь висеть под сараем и отдыхать. Давай еще поработаем. Ну не противься. Ну! Вот так. Вот хорошо! Вот молодец! Вот умница! Мы сейчас с тобой поработаем на славу. Вот так! Вот так! И с уговорами Валентина не заметила, как дошла до края делянки. Она воткнула литовку в копну. Достала из-под нее мешок и стала набивать его травой. Спина гудела. Закрепила хорошенько мешок на багажнике велосипеда.

Большая стая грачей возвращалась с полей на ночлег. Пролетая над лугом они с удивлением рассматривали обнаженную одинокую фигуру возле копны сена на безлюдном вечернем лугу. Валентина оделась, взяла косу, тоже привязала ее к раме и повела тихонько велосипед по скошенной лу-

жайке. Дойдя до тропинки, она чуть наклонила велосипед, перекинула ногу через раму и, оттолкнувшись, несмело поехала, руля по дорожке вдоль реки. Ее отражение тоже увязалось за ней. Будто бы не одна, а две Валентины сегодня работало на покосе. Она щурилась от ослепительных встречных лучей вечернего солнца. Его доброе теплое лицо улыбалось ей благодарно и торжественно.

...На следующий день Галина с Михаилом выходят из ограды, смотрят, Дарья всей семьей на покос пошли. И Димка тоже сегодня увязался. Оздоровел маленько видно. Иринка с Валентиной. — На покос?

— Надо добивать, — вздохнула Дарья. Адате с нами, — шутя проговорила она.

— А че, Михаил, сбегает на часок-другой, подговорила Галина.

— Можно, — подтвердил Михаил. И они, вернувшись в ограду, прихватили свои косы на всякий случай и зашагали рядом с приободренной Дарьей.

Вначале помогли быстренько перевернуть, просушить сено. «Один горюет — семья воюет» — говаривали в старину. На покосе сталолюдно, шумно. Даже взрывы смеха пролетали. Работалось спорно, весело, вдохновенно. В охотку. Дарья все в уме повторяла слова благодарности Михаилу с Галиной. А то когда-бы она одна-то управилась, хоть и с ребятами. Солнце грело изо всех своих сил. Иринка с Димкой и Валентина разделись. Загорали. Каждый ходил вдоль валка и ловко переворачивал шуршащее сухое сено. Оно подсыхало моментально. Все сделали очень быстро. Что Дарья не успела и глазом моргнуть.

Вот почему у соседей так быстро получалось. В день свалили весь покос. На второй переворостили и можно копнить. А еще через день уже готовый зарод стоял. Вот что значит дружная семья. Ну, как тут еще раз не повторить, что один горюет, а семья воюет.

Широкая светлая полоса на переднем плане с шестью копнами уже нежно зеленела, а остальная часть — половина покоса — сохла, заваленная пухлыми валками подсыхающего сена. Иринка с Димкой ворошили сено возле кустов на Иринкиной делянке. Димка был в сетчатой кепке с длинным козырьком и надписью «USA Калифорния», в длинных цветных широких шортах — в маминых подарках. В белой футболке с рисунком леопарда. Дарья с Валентиной да Михаил с Галиной закашивали остатки покоса в четыре косы. Дело спорилось. Работалось уверенно. Валки прибывали.

Иринка с Димкой закончили ворошить. Пошли к реке. Сели на бережок. Ветерок был прохладный, но солнышко хорошо и приятно припекало. Но уже не обжигало. Был конец июля. Иринка гадала на ромашке, бросая лепестки в воду... А Димка встал и пошел к копне. У него еще побаливала



голова, он чувствовал усталость. Прилег с теневой стороны копны. И вскоре задремал. Дарья вчетвером хорошо подвалили. Решили отдохнуть немного. Михаил сел перекурить. Дарья пошла проверить сено. Оно почти все высохло. Сегодня его надо было обязательно скласть в копны. А то вон опять облака пошли тяжелые и крупные. Шли низко, почти сплошными серыми валами. Кругом заморачивало.

...Они накопили к вечеру еще шесть копен. Дождя не было. Хотя облачность все шла и шла, громоздясь над Дарьиным покосом. Кругом уже все было выкошено и состоговано. Сильно устали. Но Дарья была очень довольна. Сено, в основном, было прибрано. Осталось немного в кустах, где она как-нибудь дотюкает. Сено было хорошее, не созревшее и не сгнившее от дождей-сеногноев. Все было сделано вовремя. Скошено, просушено и сметано в копны. Останется потом только вывезти. В зарод ей с ребятами не сметать, не под силу будет. Попросит какого-нибудь тракториста, чтоб привез на тракторе в тележке. Тут подошла Галина и как будто прочитала Дарьины мысли: «Ну, вот, теперь останется только вывезти. Я скажу своим ребятам — пусть они на тракторе привезут. Ладно?»

— Дак это было бы куда с добром, — благодарно ответила Дарья.
— Я сегодня же сбегаяю к ним и скажу, чтоб к вечеру подъезжали. Хорошо?

— Ну, Галя, дай тебе Бог здоровья и счастья. Ты меня просто от огромной, еще одной, последней заботы спасаешь. Дома-то мы уж как-нибудь приберем сено-то. А то больно счас страшно оставлять-то. Особенно в копнах. Подъезжай да накладывай. Потом ищи-свищи.

— Ек, оно, девка, ек, — подтвердила Галина. Нонче все на воровстве стало. Не у государства, так у колхозника, али у соседа вовсе стали переть. Надо ухо остро держать. Не оставлять без призору. Даже частушку про это сочинили. И она запела на весь покос:

Я косила, я косила,
Накосила сена воз.
Накосила сена воз.
Кто-то тибаной увез.

Она всплеснула руками, хлопнула ладонями о колени, потом ударила заразительно в ладоши да притопнула ногой.

Михаил не слышал их разговора; засмотрел на Галину удивленно: «Что это с бабой-то? Не тронулась ли? Или «крыша поехала?» Дарья заулыбалась. Казалось, что глядя на Галину и силы прибавилось, и усталость пропала от ее озорства. «Вот до старости человек доживет, а все никак не поумнеет, — подумала она. — А может это и к лучшему. Все веселее жить. Не надо унывать...»

Дарья глубоко вздохнула, как бы выдохнула изболевшуюся боль, которая сидела в ней всю эту долгую и трудную неделю. К вечеру сено привезли и сметали стог возле Дарьиного огорода. Одна-то Дарья бывало справлялась с сенокосом пятидневки за две. Когда здорова была. А нынче тяжело-ваго пришлось. Годы идут... «Неужели придется попускаться корове? — Дарья никак об этом и думать не хотела. — Поживем, увидим».

В субботу они с Валентиной сбегали с утра покосили в кустах. Собрали кое-какой скарб, что припрятан был, чтоб унести домой. Дарья смотрела на свой покос с благодарностью. Опять она с сеном. Теперь можно зимовать. Покос стал чистеньким, как бы опять стал молодым, весенним, подстриженным под современную моду — под бобик. Нежно зеленела оттава, под осень она еще поднимется и Дарья опять покосит. И увезет траву сырой на тележке. А теперь все пока. «До свиданья, Дарьин покос! До осени!» Хотя Дарья еще не раз побывает тут. Да вспомнит ушедшее... и тяжести, и радости...

... К вечеру она истопила баню. Валентина наготовила еды. Все вымылись, приоделись по-праздничному. Позвали Галину с Михаилом. После бани словно в раю себя ощущаешь. Чистый, легкий и благостный какой-то. Глаза и лица поблескивают. В теле и в душе приятное возбуждение от радости за исполненное дело, от предчувствия, что все хорошо закончилось, что збота спала с души, что впереди приятный спокойный вечер с домашними и друзьями.

Дарья глянула вверх, на божицу, мысленно перекрестилась. У ней там с давних пор стояла икона в блестящем окладе и в раме под стеклом... Иринка с Димкой как-то вставляли на лавку и разглядывали, кто там был нарисован. Димка тянулся на цыпочках, но толком не мог ничего разглядеть. Подтыкая Иринку, выпрашивал у ней, что она видит там. Голова Ириши оказывалась на одном уровне с глазами Христа. Она рассматривала Господа Бога, нарисованного тускло-охристыми и коричневыми тонами. Он смотрел прямо на нее, подняв правую руку с двумя перстами. Он как бы осенял крестным знаменем входящего в дом и обращающегося к нему. И приветствовал на добрые дела. Глаза его были очень внимательны, добры и проникновенны. Он как бы говорил: «Мир вашему дому! Будьте и оставайтесь всегда людьми с большой буквы. Ни при каких обстоятельствах не теряйте своего достоинства. Креститесь духом при любых невзгодах. Верьте, что он — Господь — всегда с Вами! Во имя Отца и Сына и Святого Духа! Аминь. Будьте счастливы и живите дружно!»

— Ты, баба, отдай потом, когда будешь умирать-то, нам этого Бога, — не подумав, брякнул как-то Димка. Ему и Иринке очень нравился этот, нарисованный неизвестным художником портрет Иисуса Христа. Он манил к себе и наставлял на добрые дела и предупреждал о чем-то тревожном одновременно. Это был хороший человек, чем-то похожий по характеру и выражению лица на их бабушку Дарью. Такой же добрый и внимательный, справедливый и требовательный, озабоченный и тревожный...

Для Дарьи он был таким же полноправным жильцом ее дома, как и она сама. Она часто и подолгу разговаривала с ним в открытую, вслух. Когда она была в доме одна. Когда ей туговато приходилось. То ли с сеном, то ли с дровами, то ли когда корова собиралась телиться. И Дарья, приняв роды, благодарила Бога, обращаясь к корове: «Ну, вот, Буренушка, Бог дал нам с тобой опять теленочка. Опять с молочком будем».

Ее еще в детстве мать с отцом водили в церковь. До коллективизации. Она хорошо все запомнила. И сладкозвучное пение детских голосов, и тревожно-трепетное мерцание свечей и добрые лики сочувствующих Богов, и

колдовские запахи дымящих в кадилах трав... А главное — лица людей — одухотворенно-праведные, похожие на лики святых, склоняющиеся в крестном знамении и что-то про себя шепчущих... И этим, кажется сравнивающимся с самими Богами... Может потому и не сгибались для них и для Родины в тяжелые времена...

Эти видения стояли теперь перед Дарьей расплывчатым миражом, будто в утреннем тумане на цветном ее лугу, освещенные первыми лучами солнца... Она дорожила этими видениями и этой иконой, доставшейся в наследство от своей матери с отцом.

— Только вы раньше моей смерти ее не увезите, — говорила Дарья Димке, не обижаясь на его просьбу. Когда умру, то она вон Валентинина будет. Хоть она, вроде, не верит в Бога. Пусть ей распоряжается. То ли Иринке отдаст, то ли тебе, Дима. Вот так, внуки мои. Берегите икону и чтите Бога. А с ним вспоминайте и меня иногда. Вот, мол, была у нас бабушка Даша. Все нас работать заставляла...

— Нет, нам понравилось сено косить, — запротестовали Иринка с Димкой.

— Блеск, бабуся, на покосе! — и Димка поднял правую руку, сжатую в кулак с оттопыренным вверх большим пальцем. — Мне понравилось косить и купаться, — и он подмигнул Иринке.

— Ничего, Дима, ты еще научишься косить. Я еще не думаю попускать корове-то. Так что приезжайте летом опять. Поработаем опять к душе, — и Дарья ласково потрепала Димку по вихрастой голове и прижала обоних к себе. — Ну, спасибо Вам, мои помощнички золотые. Что бы я без вас делала! Большущее вам спасибо, внучки мои родные, что помогли бабушке, что не забываете свою единственную и одинокую бабушку. Спасибо Вам огромное за помощь, за добрые сердца ваши. И низкий вам поклон от меня, — и Дарья встала перед Иринкой с Димкой, перекрестилась, и каждому в отдельности поклонилась, доставая рукой до пола. Перекрестилась и поклонилась Валентине: — Спасибо и тебе, доченька родимая моя, что приехала нонче и помогла мне. — Подошла и расцеловала Валентину, слеза сама собой скатилась из глаз... Валентина стояла, прижавшись к матери, и тоже дрожала, готовая ни с того, ни с чего разреваться...

— А вон и Галя с Мишей бегут, — спохватилась Дарья, показывая в окно. — Давайте все на стол ставить.

Михаил шел с гармонью под мышкой. По другую руку, подхватив его под локоть, шла разнаряженная в ярком цветастом платке Галина. В ярком платье, статная, и вновь ставшая красивой какой-то новой целомудренно

возвышенной красотой. Зашли. Поздоровались. Михаил поставил гармонь на полати, чтоб ненароком никто не уронил. Берет ее. Вся жизнь в ней да в Галине была. Как с двумя невестами и жил. Они не зря его частенько ревновали друг к другу. То Галина готова его гармонь хрястнуть об пол. Когда он на гулянках совсем забывал о Галине или на кого-нибудь поглядывал из молодух. Или же когда, играя, забывался, прислушивался и прижимался кудрями к малиновым мехам поющей и выговаривающей ему о любви гармошке. Галя, наплясавшись, стояла рядом раскрасневшаяся, ядреная, крепкая, уперев руки в боки. Она ретиво наблюдала за Михаилом, как он миловался со своей сударушкой-гармонью, забывая все — все на белом свете, оставаясь вдвоем в этом пляшущем и поющем пьяном мире, добавляя страсти все больше и больше всем и вся. Плясать начинали еще азартнее, с новыми силами. Взрывался зажигающий ритм русского народного танца — «плясовая», вызывая на танец и на смену танцующему нового человека, нового свежего танцора. Ноги сами, казалось, начинали переступать в такт гармошке. А гармонист все пажаривал, стараясь еще и еще усилить и без того бешеную скорость пляски, ее безудержную удаль и необузданную свободу...

Тут-то и подхватывала какая-нибудь разухабистая, крутая бабенка такую забористую частушку, что еще больше наддавало задору и гармонисту и всем танцующим.

Гармонист, гармонист,
В кухне поварешка,
Не тебя ли, гармонист,
Обосрала кошки.

Чего стерпеть любой гармонист, конечно, не мог и начинал с таким жаром наяривать плясовую, что некоторые, запыхавшись, сходили с круга, не успевая за ритмом и скоростью.

Мужики шли курить на улицу, а бабы — попить чего-нибудь — воды или квасу, отмахиваясь платочком и едва дыша. Тут-то их и настигала новая оказия. Хозяйка дома (или тамата) подходила с чайником, в котором была домашняя крепкая бражка, приготовленная для этой гулянки — свадьба или проводы в армию и пр. На рожке чайника висел граненый стакан. Отказываться не полагалось — обидишь хозяйку. Гость снимал стакан, хозяйка наливала его доверху мутновато-белой жидкостью. В другой руке была тарелка с закуской — холодец, соленые помидоры с огурцами или соленые грибочки. Мужчины, навалив стакан, обычно не закусывали, лишь утирали губы тыльной стороной ладони. Женщины были похитрее. Соглашались выпить только с хозяйкой, таким образом выпив только полстакана. И ско-

рей торопились чем-нибудь закусить, морщась и трясая головой при этом от не очень-то приятного вкуса косорыловки. И убегая быстрее от хозяйки — то ли обратно в круг пляшущих, где с новой энергией, чуть отдохнув и отдышавшись, продолжали гулять. Или прорывались тоже на улицу — глотнуть свежего воздуха, а то и вывернуть желудок наизнанку от подступившей к горлу тошнотворной жидкости, ринувшейся обратно...

А на кругу не умолкали озорные частушки:

Эх ты сват, ты сват,
Не бери меня за зад,
А бери за перед,
Не скорей ли заберет!

Галина много знала частушек. Она своей песней напоминала, что она тут, рядом с Михаилом. Запоет:

Гармонист, гармонист,
В кухне поварешка,
Не бывать тебе на моде,
Кабы не гармошка!

Так что выбирай — то ли она — Галина, то ли гармошка. Но Михаил, как на грех, крепко и беззаветно любил обеих сразу. Тут он не мог разорваться. Галина понимала это и всегда была рядом. С одной стороны — она, а с другой — гармонь. Михаил — посредине между ними...

...Дарья пригласила всех за стол: — Присаживайтесь, гости дорогие! Ищите место. Чем богаты, тем и рады. Михаила с Галей усадили в передний угол — под божницу. Дарья тоже села рядом с Михаилом...

Она вспомнила тот вечер, когда он приходил к ней... И как она любила его... Но все же отказалась от него... И благодарна ему, что он все понял и принял просто дружбу... Так и осталась между ними эта тоненькая ниточка... И не порвалась с годами...

...Это случилось в одну из летних ночей, накануне отъезда Валентины с детьми. Утром в пятом часу кто-то резко забарабанил по стеклу в окне с криком: «Дарья, вставай! У тебя сено горит!» У Дарьи чуть сердце не разорвалось: — Да не может то быть? Мыслимое ли дело? Ведь она свои последние силы в это сено вложила! Это же ее жизнь! Это ее существование! Да кто же это на такое решился? У кого только рука поднялась? Изверги проклятые! Ведь она никому зла не делала. Ни с кем не ругалась, никому не перечила. За что же такое наказание? Господи! Спаси и сохрани!

Она, как была в одной нижней рубашке, так и выскочила на улицу. И Валентина в одном халате за ней. Да вернулась тут же. Стала ребят будить.



Дарья выбежала. Сено полыхало, озаряя голубую пелену плотного тумана, скрывающего всю округу.

Соседка уже разбудила всех, кто жил поблизости. Люди бежали с ведрами. Кто с наполненным водой, кто с пустым. Воды нигде близко не было. Стояла засуха. Сено горело яростно, как порох.

А Дарья, как-будто не видит и не слышит ничего. Выхватив ведро у одного из подбежавших, она вылила его на себя. Тут же подхватила другое ведро и бросилась в самый огонь. Исполняя рубаха мигом из белой стала серо-грязной, прилипла к телу. Подбежавшая Валентина попыталась удержать мать. Да где там. У Дарьи, как у сумасшедшего недюжинная сила появилась. Не справиться. И Валентина влилась в этот водоворот людей с ведрами, вилами, баграми. Огонь то чуть оседал, то будто взрывом выбрасывался из разворошенной кучи. Люди отскакивали от его жадных языков, пожирающих высохшие луговые цветы и травы. А люди все кидались и кидались в атаку, словно сражались с ненасытным Змеем-Горынычем. И победили все-таки. Отстояли сенца, правда, немного. От зарода и пятой части не осталось. Одна черная труха, да зола. Хорошо, что ветра не было. Утро было тихое, ни один листик не шелохнется. А если бы с ветром, то и дом, пожалуй не отстоять. Не подойти бы было. И так вон угол конюшни обуглился. Обезумевшую корову еле удержали, когда вывели из конюшни, когда она увидела полыхающее зарево в полнеба. Валентина отвела детей к соседям, но они стояли на улице и дрожали, то ли от утренней прохладной сырости, то ли от страха.

Люди долго не расходились. Возбужденные переговаривались, строили догадки. Кто же мог поджечь? Сетовали. Да у какого же подлеца это только руки поднялись? Все сочувствовали Дарье. Знают, как сено-то достается всем, приходится повкалывать, помахать литовочкой-то. Да и сгрести, скопнить, да сметать тоже надо, время и силенки немалые. Да вывезти. Хватает заботы...

Одна соседка наискосок живет, поглядывает из своих ворот. Ехидно так прищурилась, губки ниточкой. Тоже зарод сена около дома стоит, но никто не тронул. Как-никак маленький бугорок на ровном месте — начальство. Побоялись, видно. Вот и радуется в душе соседка. В груди у ней что-то тает, да растекается по телу, как бальзам, что не тронули у ней сено.

А у Дарьи, видимо, спалить можно, она одна живет. Нет у ней ни власти, ни денег, ни доходного места. Некому ее защитить...

А вот случилась беда. И пришли люди на помощь. Потушили огонь. Вот если бы всегда так люди поступали. И объединялись на борьбу со злом не только в экстремальных ситуациях. А то в серых буднях мы живем все по-

диночке. А зло чаще в стаи сбивается. Потому оно и побеждает. И будет побеждать пока мы терпим...

В эту ночь еще у одних сено подожгли. Через два переулка от Дарьи. Но ее это несколько не утешало. Что не у одной сгорело сено. Впервые у Дарьи руки опустились. Она не знала что делать. В войну выстояла...

Как будто душу кто поджёт. Вся выгорела. Одна зола осталась. Пустота внутри. И тяжело... И больно... Долго еще жгло внутри. Не знала Дарья ни покою, ни сна. Ночью, когда Валентина, уложив ребят, тоже заснула, Дарья встала и, прикрыв дверь в горницу, подошла к божнице и зажгла свечку.

Стоя в долгополой белой рубаше, она, словно выписанная на иконе богоматери, замерла с окаменевшим лицом:

— Боже, праведный. что же это делается на белом свете? И за что ты меня наказываешь? Где же справедливость? За что ты меня так караешь?

Но ответа не было...

Бог взирал с высоты все так же сурово и немилостиво.

— За что Ты на меня такие напасти посылаешь? И почему Ты именно меня, безропотную тварь выбираешь для таких тяжких испытаний? Неужели Ты думаешь, что у меня хватит сил все это вытерпеть и выдержать? Боже! Ну, скажи хоть одно словечко сочувствия! Будь милостив! Но в ответ все то же молчание...

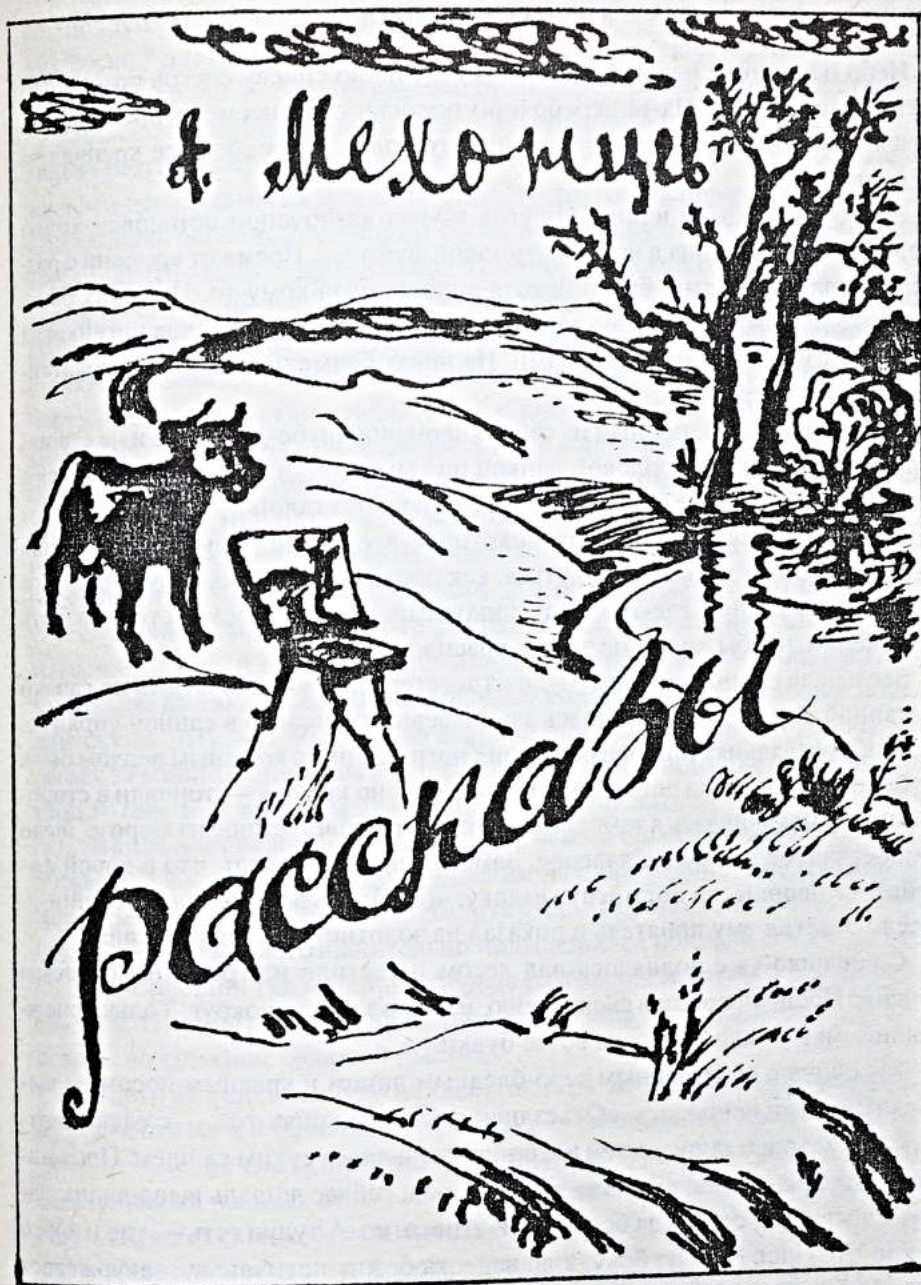
— Да, каюсь, что недостаточно Тебя чтит и поклонялась. Порой совсем забывала в хозяйственных хлопотах. Но неужели только за это так жестоко карать? Ведь я никому никогда не делала зла. Даже в мыслях не желала. Всегда жила только своим трудом. Из последних сил выбивалась, чтоб дочку выучить...

И почему это все беды ко мне идут? Господи! За что Ты отмечаешь меня своим вниманием? За что ты выбрал меня своей жертвой? Чтоб тяжести жизни раздавили меня? Может в назидание другим, таким же бессловесным? Чтоб не лезли в праведники? Чтоб жили, как все — в грехах и пороках? Чтоб потом молились и калялись?

Господи! Прости Ты меня за все мои прегрешения! Ты видишь — вот я стою перед Тобою! Вся на виду! Помилуй, Господи, рабу Твою!

И Дарья, положив крест, становилась на колени. И снова перекрестившись, кланялась, касаясь лбом пола. И так до утра... В безответном монологе. Из ночи в ночь...

Июль—август 1994 г.
В. Полевая.



Небо на востоке плавилось, озаряя утреннюю синеву снегов розово-фиолетовыми тонами. Из-за серебряной полоски леса несмело пробивались первые, будто вылинявшие, лучи зимнего солнца. А мороз все крепчал на солнцевсходе.

Автобуса не было видно. Из угла в угол автобусной остановки ходил бледнолицый мужчина в новой сатиновой фуфайке. Время от времени с размаху хлопал ладонями, будто нехотя аплодировал кому-то. На руках были обшитые зеленым сукном рукавицы-шубенки. На голове черная цигейковая шапка с развернутыми вниз ушами. На ногах белые чёсанки — самокатанные пимы — в галошах.

Другой мужчина, полный из себя, в черненой шубе-дубленке и не старой ондатровой шапке, с бордовой папкой под мышкой, изредка переминался с ноги на ногу. Он тоже был в валенках, только без галош.

Если стоять неподвижно, то некоторое время вроде бы не ощущаешь холода. Но стоит чуть шевельнуться, как противно-холодные щупальца его прикасаются к спине где-то между лопатками. Приходилось постоянно быть в движении, чтобы холод не застиг врасплох.

Заслышав скрип, все выглянули из заветерья. Цокая копытами по гладко укатанной дороге, приближалась заиндевшая лошадка в санной упряжке. Мужик в розвальнях широко расставил ноги. Шапка с кожаным верхом была глубоко надвинута на лоб. Уши у шапки, словно крылья — торчали в стороны, слегка покачиваясь в такт движению. Лицо, обветренное на морозе, было темное, задубелое, будто каленое. Заметив знакомого, тот, что в новой фуфайке, заговорщически подмигнул ездоку: «Подбрось до города». «Падай!» — весело ответил ему приятель и показал на золотистую солому в санях.

Солнышко уже поднялось над лесом и светило не греющим белесым диском. Пропели полозья свою песню, и снова затихло вокруг. Только снежная поэмка уныло шуршала возле будки.

Мужчина с обветренным серо-бледным лицом и красным носом не выпускал изо рта папироску. «Отъездили сейчас на конях-то» — с едва заметным сожалением произнес он и длинно закашлялся сухим кашлем. Прокашлявшись, продолжал: «Бывало, надо в город, сейчас лошадь выпросишь, запрягешь в сани, сена туда бросишь и — покати. А тулуп есть — так и вовсе добро. Лежишь себе на боку, а лошаденка бежит потихоньку, закуржевет вся. А сам начнешь остывать, соскочишь с саней-то и бежишь рядом, пока не согреешься. Потом опять упадешь на сено и отпыхиваешься, слушаешь

как похрупывает снежок под копытами, да полозья попискивают; а от сена дух лесной идет — то летним зноем напахнет, то цветущими травами, то душистой ягодой — спелой клубникой, а морозец пощипывает щеки».

«Да, сейчас нет охотников ездить в город на лошади», — полный подхватил разговор. Он двигался мало, лишь изредка постукивал в ладоши кожаными перчатками да трогал то одно, то другое малиновое от мороза ухо. «Да, лошадь основной транспорт была, а сейчас чуть не у каждого машина; это же целый табун лошадей, а вот что-нибудь сломается — попробуй купи эту запчасть — не тут-то было — вот и стоишь на приколе», — горя о своем, продолжал полный. Человек в фуфайке передернул плечами, как бы стараясь избавиться от подбирающегося холода, покачал головой: «Да, все переробили мы на этих конях. Я вон с двенадцати лет стал на них робить. Досталось всем... Раз в уборочную хлеб в город возили; мне уж тогда пятнадцать минуло, за мужика робил... Я до города-то еще не доехал, а у меня у телеги передок-то и раздавило; мешков-то будь здоров наворочали, вот передние-то колеса и лопнули. Что делать? Надо как-то дотянуть хотя бы до деревни, что возле самого города. А там по бульжникам-то на Ждановой улице у меня и вовсе колеса-то растрясло бы. Развалились бы к чертовой матери». Бледный опять закурил тоненькую горькую папироску и глубоко затянулся, да так, что щеки ввалились и еще резче обозначились побелевшие скулы. «Ну, вот доехал я до деревни, побежал в кузницу. А ночью прибегаю за мной техничка из конторы: «Айда, — говорит, — поезжай, колеса твои готовы». А времени два часа ночи. Что делать — встаю; надо запрягать. Война идет ведь. Не считались ни с чем...» Он остановился, замер: «Ох, и повозился наш брат с этими мешками да с бревнами... Все переробили... Все пережили... И давно ли это было?» «Да... Так оно... Молодость пролетела», — нехотя и многозначительно подговорился полный.

Нарастающий гул машины оборвал разговор. Не автобус ли? Показался лесовоз. Он прогремел прицепом, обдав еще более сильным морозным ветром со снежной колючей пылью.

Попрыгав еще с минуту на обжигающем ветру, все снова вернулись в будку. «Как же я в больницу-то попаду, — заперевжал один. — Пропадет день-то; я и так еле выпросился у заведующей фермой. Дожили! Скотник незаменимый человек стал». На его побелевших скулах зашевелились желваки. «Придет скоро, — успокаивал его полный. — Если дорогу не перемело...» «Холодно ждать-то. Я уж промерз весь, язви его в душу. Хоть бы погреться куда сбегать. Хоть в конюховку, что ли? А перекрепнешь, дак хуже будет». Он с нетерпением высунулся из укрытия — не видать ли какой ока-

зии? Метрах в пятистах от остановки, под грейдером, виднелся конный двор с небольшой избушкой.

Солнце поднялось повыше. Небо совсем очистилось от утренней хмари. Заблестела отполированная колесами и полозьями зимняя дорога. С теневой стороны грейдера протянулась густо-голубая тень — от возвышающихся по краям дороги сугробов снега. А ветер все дул и дул...

ГОЛОС ПРОПАЛ

— Надорвали пупок в войну, вот сейчас и маемся. То болит, это болит, — размышлял вслух мужчина в фуфайке. — Кого мы тогда были — еще сопляками дак. Еще за девками не ухлестывали, а работу мужскую уж всю переробили. Счас вон надо справки ехать собирать за военные годы, чтобы пенсию добавили. А свидетелей-то поди найди, многие уж поумирали. Да пока собираешь эти бумажки-то, как бы самому не сыграть в ящик... Здоровья-то уж нету ни хрена.

Сухощавый мужчина поехал и полез за табаком в карман, чтобы закрутить сигарку. Негнушимися пальцами он привычно скрутил самокрутку, послонявил бумагу и, проведя туда-сюда пальцами по ней, завернул один конец, а другой вставил в рот и прикурил. Прокашлявшись, он сплюнул и с нетерпением выглянул из укрытия — не видать ли какой оказии. Автобуса все еще не было видно.

— Холодно, язви его в душу. Я уж промерз весь. Как я в больницу-то попаду? Хоть бы погреться куда сбегать. Вон в конюховку что ли? Дак опять автобус можно прокараулить.

— Придет, — успокаивал его полный.

— Нет, наверное, я пойду погреемся. Спасу нет, холодина. Перекрепнешь, дак хуже будет. вовсе расхвораетесь, — как бы про себя размышлял сухощавый. Он зябко передернул плечами и рысцой побежал в сторону конюховки. Метрах в пятистах от остановки, под грейдером, виднелся конный двор с небольшой избушкой, почти занесенной снегом; из трубы тянулся сизый дымок.

Полный было тоже хотел идти за ним, но остановился в раздумье и, повернувшись спиной к ветру, поднял воротник дубленки.

Из-под горы, не торопясь, взбирались две старушки с котомками, укутанные свисающими до пят шерстяными клетчатými шальями. Чуть отдышавшись, одна проговорила:

— Слава Богу, не опоздали. Значит, еще не проходил? — еще раз для верности спросила старушка.

— Нет, еще не проходил. Вот стоим ждем. Околели уже, — ответил полный. — У меня вон попутчик не выдержал, убежал в конюховку греться.

Другая старушонка подоткнула шаль, освобождая лицо с морковным румянцем, и достала из кармана плюшевой жакетки цветастую тряпочку, которой она вытерла слезившиеся глаза. Шумно высморкавшись, она с придыханием заговорила: — Ох, изварначились нонче шофера-те, ох, изварначились. Хотут едут, хочут нет. То проскочат и не остановятся, а то опять не заезжают во все-то деревни, в которые им положено заезжать. Нисколько не стало порядку... А тут стой да мерзни. Да еще дождешься нет. — Она аккуратно сложила свой платок и спрятала под шалью.

Полный мужчина все прикрывал ладонью то одно, то другое ухо и крутил головой, вглядываясь в синеющую даль.

— Вон вроде показался, — с воодушевлением проговорил он. — Надо за напарником бежать, дак опять на автобус опоздаешь.

Уже стало слышно гудение машины. Все старушки зашевелились, разбирая свои кошелки. К остановке резво бежал новенький «пазик» оранжевого цвета. Затормозив, он чуть проехал юзом, поурчал немного и стих.

Стоять на морозе да еще с ветром не было никакого терпения. Старушки постучали в дверку. Половинки раздвинулись со скрипом, и бабушки с пыхтением да с помощью мужчины кое-как забрались со своими вещами в автобус.

— Подождите-е! — это кричал и на бегу размахивал руками мужчина в фуфайке.

Пока вошедшие искали свободные места да покупали билеты, мужчина добежал и, тяжело дыша и кашляя, тоже влез в автобус.

— Фу, дождались вроде. Ну, поехали, — выдохнул он, садясь рядом с полным.

Двери захлопнулись, и автобус покати в город. Солнышко выползло из-за серебряной полоски леса и светило равнодушным неярким малиновым пятном. Полный мужчина снял перчатки, размял руки и расправил воротник полушубка.

— Я вот тоже случай один вспомнил. Вот так же зимой под Рождество это было. Поехал я как-то на лошади в район за зарплатой. На весь школьный коллектив получать. Получил. Зашел в чайную. Закусил. Пропустил, конечно, для сугреву стаканчик-другой. Тогда в столовой водку продавали, помнишь? Дело уж под вечер было. Ветерок заподувал. Вот так же, как сегодня. И холодина страшная, аж обжигает. В кошке у меня сено было. Я лег на него. Смотрю — дорогу переметать стало. Я отпустил вожжи. Ду-

маю, лошадь дорогу знает. Частенько на ней в район-то ездили. Положил портфель с деньгами в передок, сам закутался в тулуп. Лежу. Лошадь бежит. Так мне хорошо в тепле-то. Изнутри и снаружи греет. Ну и задремал, видно. Спросонья дерну вожжами и опять дремлю. А лошадь выездная была. Ее только задень — рвет во всю рысь. Она, видимо, рванет да и собьется с колеи-то. По суметам недолго набегаешь. Начнет на дорогу выбираться, я опять спросонья дергану вожжами. На какой-то колдобине меня так мотануло, что я еле удержался. Проснулся. Смотрю — подъезжаю к лесочку. То ли мне мерещится, то ли что? Вроде как огни деревенские замелькали уже. То ли что? А у самого уже весь сон ободрало. Неужели волки? Хоть и не верится, а холодок по спине уже покотился колючим шариком. А в те годы, в войну, почему-то часто у нас в лесах волки попадались. Откуда они появились? Раньше-то не бывало. А тут и в пригоны залезали. Овечек всех пережуют и поминай как звали. Удерут. Ни собак, ничего не боялись. Что делать? До деревни-то всего ничего осталось. А если заворачиваться, так они еще быстрее догонят. Пока я шарашусь по целине-то. Решил вперед гнать. Намотал на одну руку вожжи и достал кнутик небольшой. Стал на коленки потверже и заорал благим матом. Аж мурашки по всему телу зашевелились. Самому страшно стало. Ору да понужаю. Понужаю да ору. Кричу: «Ну, Орлик, выручай!» Как он меня подхватил, да как понес... Аж глаза слипаются. Думаю, только бы не вылететь из кошевки-то. Только бы не вылететь... Вот так, весь как на иголках и гоню. Не знаю, как я проскочил. Может, сытые были... Вообще, проскочил как-то лесочек. Смотрю назад. Не видать никаких огоньков. Обошлось, думаю... Весь сон ободрало. Все. Теперь до самого дома не буду спать. Прибежала лошадь на конный двор да так и повисла на изгороди. Услышал конюх, как состукало где-то. Вышел. Темень кругом. Месяц-то еще не народился. Слышит — храпит лошадь. Подходит ко мне. А у меня язык отнялся. Не могу ничего сказать. Он схватил меня в охапку и в конюховку быстрей. Пока он со мной возился, лошадь подошла к колоде с водой да и напилась. Ясное дело. Разгоряченная такая, вся в мыле была. А здорово бегала, выездная была. Потом конюх меня домой отвез.

На другой день я вспомнил о деньгах. Побежал к конюху. А он уж сменился. Я к нему домой. Хриплю еле-еле. Переорал весь голос ночью-то. Объясняю ему, что там в кошевке должен быть портфель с деньгами. «Нет, — говорит тот. — Не было ничего». А сам мне про лошадь толкует, что напилась холодной воды и кончилась. У меня и вовсе поджилки затряслись. Шутка ли — еще и лошадь колхозную нарушил. Да деньги потерял. Стою — сам не свой. И где мне столько денег взять? Точно ветром их сдуло. А где

искать? Дорогу перемело... Все, хана, думаю. Суши сухари... Времечко было строгое. На всю катушку разматывают. Что делать? Тяжело вздыхаю. Пошел домой. Надо готовиться...

Прихожу. Жена говорит, что звонили из сельсовета. Думаю, все — посадят. Звоню. «Надо, — говорят, — тебя срочно». Жене наказал, чтоб собирала манатки в дорогу. Жена в голос. Реветь. Еле отцепил ее от себя.

Прихожу в сельсовет. Смотрю. Мой портфель вроде бы. Я сразу к нему. А деньги где? Открываю — денег нет.

— Давай, друг, — говорит председатель. — Беги в магазин. С тебя магачич причитается.

Я стою, трясу головой, ничего понять не могу. И ушам своим не верю.

— Говори спасибо, что школьники шли утром в школу и нашли твою сумку. Открывали или нет, но ничего не тронуто. Деньги все тут. Вот принесли в сельсовет. Говорят, что нашли на дороге.

А я уж было совсем собрался в путь-дорожку дальнюю — казенный дом... А на лошадь-то я потом насобирав все-таки по родне. Уплатил. Обошлось вроде, но страху натерпелся.

— Да, легким испугом отделался, — подтвердил сухощавый сосед по автобусу. — А то бы припаяли порядочно. Хорошо ребятишки первые прошли. А если б кто другой. Плакали бы твои денежки.

— Да-а... Долго у меня тогда голос-то не появлялся. Все хрипел, разговаривая. Век не забыть.

Полный замолчал. Память не отпускала, прокручивая давние сюжеты из пережитого прошлого.

ВЫСТРЕЛ В НОЧИ

Две бабуси, закутанные в длинные клетчатые шали, подошли к остановке.

— Здравствуйте! — поприветствовали они с легким поклоном полного мужчину в черном полушубке с папочкой под мышкой.

— Здравствуйте, здравствуйте! — ответил он. Куда это вас нелегкая понесла? Сидели бы да сидели дома на печке. Так нет. Тоже куда-то ехать надо в такой мороз. Я-то хоть не по своей воле еду. Работа. — многозначительно кивнув на свою розовую папочку, отпрапортовал полный. — Я бы сам-то в такой холод ни за что никуда не поехал. Добро прижимает нынче. Рождественские морозы. Вон мой напарник не выдержал, убежал в конюховку греться.

— Так у вас же сейчас каникулы начались. Вот и лежал бы да отдыхал.

— У кого каникулы, да только не у учителей. Им не больно дают отдыхать-то. Не зря деньги платят. Даже и хворать-то некогда.

— Да, хворать-то не дай Бог никому. Я вот нонче всю осень почти пролежала. Промаялась. Вот только полегче-то стало. У сына давно не бывала. Им тоже все некогда. Все на работе. В заводе робит. Надо, думаю, съездить, попроведать. Как они там поживают.

— Неужели в такой-то мороз ехать? — не унимался полный. — Потеплее бы стало, тогда и съездила бы.

— Я потом может опять занемогу. Опять не съездить. Нет, уж я пока могучая, пока чувствую себя ничего-то, вот и съезжу. Гуся вот им привезу да варенья клубничного. Наварила немножко. Пусть они поедят, детоньки-то. Меня вспомнят. Мамы-то не будет, дак кто им подсобит.

Бабуся резко смолкла, оборвала начатый разговор. На ее глаза набежала легкая тень.

Послышалось гудение автомобиля. Бабуся, подхватив свои узлы, вышли из будки. К остановке катил автобус. А от конного двора бежал мужчина в фуфайке и махал рукой, чтоб его подождали. Забравшись и устроившись на свободных местах, старушки снова разговорились. Одной не терпелось рассказать свежие новости:

— Че деется, девка, на белом свете-то, че деется, — с горечью в голосе, вытирая все еще слезившиеся глаза, проговорила одна из старушек. — Вот, девка, вечер слышала, что случилось? Нет?

— А че? — отвечала недоуменно вторая.

— Какой парень был! И в самый канун Рождества... И как это он? Из армии как второй год пришел. Стал в колхозе робить. На ферме. Видала поди Леньшу-то Язовских в чем он ходит? В чем на ферме робил, в том и в клуб идет. А в последнее-то время и вовсе не стал никуда ходить. Стыдно, видно, девок-то. Они нонче вон какие зубастые. Да разоденутся: то в штанах, то вовсе почти ничего на ней нет. Одни ноги сплошь. Да все в иностранном. Папа с мамой горбятся, обувают их да одевают. Вот они, детоньки-то, и кобенятся. Мы в соседях живем. Я все вижу, куда его мать-то деньги деват. Он че, парень смиренный, отдает ей все до копейки, родная мать, дак. А она, тварь этакая, вон за всю уборочную раза три дома-то ночевала. Все с шоферами... А то вовсе домой к себе приведет. Соберутся там, да и пьют. Перепьются, а потом сама знаешь... Леньша-то ее-то к нам частенько стал захаживать. Чтоб не глядеть на них, бессовестных. На срамоту-то... Придет к нам, попросит у Генка нашего закурить. Сядет у порога и молчит.

Курит все, курит. Выкурит две-три папироски и пойдет. Мы опять не держим. Мало ли куда парню надо. Парень молодой, из армии пришел недавно. Надо ему сходить, похолостовать. Видишь, она даже ему на курево-то не оставляет нисколько. А он все ей до копейки отдает. Раза два видела, как он сцеплялся с матерью-то. Один раз повыбрасывал всех, кто там был у нее. Вроде затихло на время. Но потом в другом месте стали собираться. Он опять все один да один дома-то. Ну коей раз тоже выпьет. Сначала его дружки на ферме угощали. Потом связался тут с одним парнем. Тот не работает нигде. Живет у тетки. Она его кормит да привечает. А на выпивку он где-то сам, черт-те знает где, а находит все-таки. В день-то не по одному разу в магазин-от прибегают.

Вот Леньша-то все с ним да с ним. Мать-то опять попрекать стала. Нелюбо ей стало, что выпивать стал. Мол, пропиваешь все. Домой не приносишь получку-то. Вот и ходи в чем попало. Я тебе ничего покупать не буду. Она сама нигде не работала. Он все молчком да молчком. На ферме тоже все молчит больше. Позовут его, мол, пойдем погреемся в избушку. Сейчас приду — ответит. Вот закончу навоз убирать. Это он за Гришку убирал. Тот, видно, опять запировал. На черта он сдался — говорю ему. Чтоб за этого пьянчужку робить. За всех не переробишь. Пусть он пирует. Запивается. Тебе это на кой леший надо? Ты за себя отвечай. Делать-то нече, — говорит он. А сам дальше убирает. Поди-ка поворочай г... от нечего делать. Понравится, нет? А ему хоть бы что. Из армии недавно, да неженатый. Силу-то некуда девать. Как-то сидел он у нас. Курил. Разговаривали. Он говорит, что следов заячьих в кустах-то возле фермы много. И лису даже видел. Ружье, мол, надо у кого-нибудь попросить. Поохотиться.

Женился бы ты лучше, Ленья, — говорю я ему. А он отвечает, что не на что. Да и кто за меня, за скотника, пойдет. А я ему говорю, что не суди-ка ты некого-то. Как это не пойдет? Да любая побежит, только свистни! Он только усмехается горько. Не знаешь ты, говорит, бабуся, современную молодежь. Тогда, говорю, в город поезжай. Там ищи невесту. Там их много. Живо найдешь. Какая твоей душе поглянется. Он молчит... Потом вроде себя спрашивает: «А мать-то что ли одна останется? Она вовсе тут запьется...»

Ну какая она тебе мать, говорю. Сам подумай. Хоть одна мать желает худа своему ребенку? Собака или кошка вон как ухаживает за своим детенышем. Ты уже взрослый. Сам думай, как жить. Он ничего не ответил. Вскоре ушел.

В этот вечер он еще раз говорил матери, чтоб перестала маленько пить-то. Чтоб дала ему возможность жениться. Та и слушать не стала. Под хмель-

ком опять была. Да еще посмеялась над ним. Мол, какой из тебя жених. Слова против не скажешь. Да и кого ты с ней, с женой-то, делать будешь? Ты хоть знаешь, с какого боку-то к бабе подходить? А сама смеется. Он ведь не маленький уже. Только несмелый, смиренный шибко. Зато робит за двоих. И варит сам. И печку топит. Ну всю работу по дому сам делает. Мать-то что есть заботинки не знает. И кого ей надо? Не пристроит за парнем нисколько. Штанов добрых и то не купит. И жениться не дает. Что за мать такая? Сколько живу, не видывала еких сроду-роду. А вечером-то нонче видно опять поцапались. Оба выпивши были. Че уж у них там случилось? Че она ему наговорила опять? Не знаю. Одному Богу известно. Накануне-то он, видно, попросил у кого-то из парней ружья, чтоб на охоту в Рождество-то сходить. За зайчиками.

Вот он ночью-то взял ружье и вышел в ограду. Я слышала, где-то сбухало. Вот и не стало парня... Не состоялась охота.

Бабуся замолчала. Потом, будто вспомнив, добавила:

— Мать-то как увидела его на снегу-то в луже крови, прибежала к нам, глаза очумелые. «Леньша-то ведь нарушил себя! — закричала и волосы на себе дерет. — Это Господь покарал меня! Простите меня, люди добрые!»

— Да уж поздно было раскаиваться, — добавила грустно бабуся.

Автобус, безучастный ко всему, катил и катил по зимнему грейдеру, монотонным гудением своим навевая на пассажиров дрему и печаль...

ТРЯСУЧКА И ГОЛОСА

В автобус едва-не едва поднялись две старушки и сели порознь — одна на левую сторону, другая — на правую, продолжая ворчать и сердито спорить друг с другом:

— А ты и в колхозе не больно изробилась, все легкой работы искала. Подмазывалась к начальству-то. Не зря видно тебя на заправку-то устроили...

— А ты и вовсе нигде не робила, все только и торговала ездила на базар. Только этим и наживалась.

- Так я ведь не воровала, как некоторые. Присосались к государственной титьке и доят и доят. Да еще у соседей успевают прихватить, что плохо лежит. Я-то ведь все своими руками вспахала, не в пример тебе...

— А ты над своим мужиком вон че изгалялась, заездила его совсем, свела в могилу.

— Че тебе завидно стало? Вот ты разъезжала по курортам-то с начальством-то... Развлекалась. И квартиру-ту по благу получила.

— А тебя это не касается. Сама попробуй заработай. А я заработала.

Неважно как. Кто успел, тот и съел.

— Успела прихватизировала и гоношишься. Людям жить негде, а ты свой дом имеешь да еще государственную захапала.

— А твое какое дело. Ты так научись жить. Ты вон почему мусор к моему огороду осенью-то вывалила?

— А ты почему мою солому к себе таскала?

— Да я наоборот, отгребала от своего-то огорода, а тебе вовсе другое поблазнило.

— Видела, видела, на месте застала дак и стыдно стало. Вот и отпираешься, придумываешь че попало. Привыкли переть-то все... На дармовщину-то.

— Бабушки! Ну че вас взяло-то? Че вы не поделили-то? Ведь уже старехоньки, умирать поди собираетесь, а все как собаки лаетесь да грызетесь. Побойтесь бога! Поберегите души-то! Вот хватит вас трясучка котору-нибудь!

Это дородная краснощекая, средних лет женщина возмутилась в автобусе. Не выдержала, поднялась на старух. Они приутихли вроде. Продолжая как бы про себя ругаться, неслышно шевеля иссохшими губами.

А полная женщина продолжала: «Я вот в прошлый четверг была в районной больнице, так насмотрелась там. Вот вторую неделю маюсь с ногой-то. Все еще на больничном. Опять еду к хирургу», — обращалась она к соседке по автобусу и намеренно рассказывала погромче, чтобы и всем остальным было слышно.

— Вот это мы сидим у дверей, а народу к хирургу, как всегда — тьма, сесть некуда. Одна женщина толстущая, раза в два толще меня, стояла, стояла, не вытерпела видно. Только вышел от врача больной — она и решила зайти. А у дверей-то сидел мужчина пожилой. Ему надо было заходить-то. Он на бабу-то и поднялся, и не пускает ее: «Ты, — говорит, — корова, куда прешь? Разжиреют, — говорит, — и лезут без очереди, больные нашлись. Я вот инвалид, да сижу, жду».

Тут с женщиной-то и вовсе плохо стало. Затрясло ее. Воздуху не стало хватать. Еле заташили ее в кабинет-то. Я сама-та напугалась сильно.

А мужик тот все ворчит: «Ты поди тоже екая, трясучая? Тоже вон сколь жирна дак».

— Нет, — говорю, — я не екая. Я подожду. А у самой руки-ноги дрожат. Нога больная ноет, спасу нет. Пока я тут суетилась, да помогала больной-то, на мое-то место уж сели. Вот, бабушки, не ругайтесь, а то котору-нибудь тоже трясучка схватит.

— Не схватит, — отвечает одна, сухонькая, что торговать ехала зеленым луком! Не больно мы жиру-то накопили. Все в земле да в земле. Неоткудова ему завестись-то...

Сора бабушек и рассказ женщины расшевелили воображение пассажиров. Они негромко разговорились.

— Знаешь, девка, что правда, то правда. Мы вот в войну-то еще подростками были, а и за мужиков и за себя ворочали...

— Да, одну работу только и знали. Да еще дома надо было пластаться со своим хозяйством. Корова, поросенок, овечки. Да огород. Без них никак ребяташек-то не поднять. Не выжить бы.

— А счас разве лучше? То же самое стало. Без хозяйства никуда.

— Счас хоть все в спекуляцию кинулись. Никто работать-то не стал. Все рушится, все валится. Совхоз вон скоро закроют, наверное.

— Не закроют. Начальство-то останется. Куда их девать-то. Будут при должности, при зарплате и забот никаких.

— Это верно. Эти-то счас и живут лучше других. Кто пристроился на «доходном-то месте», да у власти, при должности. Мне вон нынче надо было огорода добавить, чтоб посадить побольше. Чтоб с голоду не умереть. Сельсоветские отказали мне. «Нету, — говорят, земли». А сами все распахали да дачникам вон продают. А для своих сельчан — нету. Обнаглели совсем. А тут бьешься, бьешься, и толку нет. А кто на «доходном-то месте сидит» — те вовсе колпака не ломают. Им всего сырым-вареным прут, дак. Все разворовывается, да и по благу продается. Хоть и государственное. Счас им, видно, все можно.

— А чем они лучше? Тем, что вкалывать не хотят. Видно они раньше нас поняли, что своим-то горбом палат каменных не наживешь. Вот и обнаглели, сволочи, — подговорился к женщинам мужик с дубленным лицом и резко выделяющимися скулами, под которыми ходили упругие желваки. — Дурили нас, суки, все это время. Крепко дурили. Погоняли как стадо. Давай, давай, поднажмите, мол. Потом лучше будет... При коммунизме-то... Не вам, дак вашим детям.

— Ну и кому стало лучше? При капитализме-то? А все тем же. Вот этим жирным да наглым. Слава Богу, хоть нам не дали разжиреть-то. А то бы счас маялись по больницам-то.

— Значит на пользу пошло что ли? Что на голодном пайке жили? Что крапивой да отрубями питались? Да беспросветно робили в колхозе за пустые трудодни-палочки. Спасибо «отцу родному», что приучил нас к тяжелой работе, да начальству всякому. А то бы разленились дак счас-то как бы выжили?

— Да-а-а, — протянул сухошавый мужик.

— Слава товарищу Сталину! А вот нынешнюю-то молодежь кто приучит к работе? Все больно самостоятельные стали. Не укажи. Хоть и сопли еще не вытерты. А мы не выпендривались. Раз надо Родине — «дадим стране угля, — как говаривали раньше, — Хоть мелкого, но много», — и мужик хитровато ухмыльнулся. Побаивались тогда... Зато порядок был, а не бардак. И никакого тебе застою. Одни стахановские рекорды!

— Да про рекорды-то бы лучше помолчать. Они все больше на бумаге были. И почитали все больше одних и тех же. Как прилипнет слава-то к кому-нибудь, не оторвешь...

— Да-а-а, — протянул скуластый мужик. Пов... повкалывали бывало. Ни дня, ни ночи не знали. За труд-то если почитать, дак вон лошади надо грамоту-то выдать. Она всю жизнь горбатится, да везет. К тому же молчит. И не вякает... Как некоторые тут...

— Эти толстозадые-то «пешки» шибко злопамятны. Готовы тебя с г... съесть, если что не по ним. А как капризно искривят губки или подожмут их в ниточку. Мать родную не пожалеют...

— Когда у человека за душой пустота, то единственное, что может помочь отыгаться за все обиды и унижения при отсутствии ума — это занять властную должность и особенно при доходном месте.

Хоть какую-нибудь, пусть крошечную власть. Власть над себе подобными. И тогда успех, достаток и уважение. Все будет... Особенно в наши дефицитные времена, когда на всех не хватает... То хлеба, то денег... То еще чего-нибудь.

РОЖДЕНИЕ РАССКАЗА

Как-то сидим у главного художника театра Юдина Юры в мастерской и беседуем на серьезную тему с поэтом — Сережей Ильиных. О том, как тяжело, в каких муках и сколько стоит пота и крови каждое рожденное из мусора и хаоса то или иное произведение. Это мне больше Сережа внушает. Я только поддакиваю. Я в этом деле ни бум-бум. Для меня все очень просто. Стукнуло по башке откуда-то свыше, что вот это надо записать. Тут что-то есть сверхестественное, что это твое и ничье больше. Я сажусь и записываю. А кто-то свыше водит моей рукой по бумаге. Вот так я работаю. И без всяких мук творчества, без пота и крови. Правда, еще раз пять перепишу потом каждый рассказик. Только тогда его в газету посылаю. Но сколько раз переписываю, столько раз и изменения вношу. Все что-то новое появля-

ется — то слово, то оборот, то новое предложение. И так без конца. Пока не надоест.

Пока Сережа за водой ходил, да чай заваривал, Юра Юдин признался в любви к моим рассказам — бабушкины воспоминания о прошлой жизни. Он прочитал и удивился.

— Молодец, — говорит. Хорошие. Тут Сережа заходит.

— Вот он мне и сказал, что это твои рассказы, — показывает Юра на Сергея.

— Так я это еще в 1970 году записал со слов своей бабушки... 23 года назад, — отвечаю я. Тут и Сережа подговорился:

— Фольклер.

— Какой фольклер? — протестует Юра. Это бывальщина. Здорово написано.

— Да, — подтверждает Сережа. Жемчужина, а не рассказы. Тебе надо эту тему развивать. Непахано. Ты один будешь.

— Как? — недоумевал я. А Бажов? Он тоже бывальщину написал. Как в шахтах робили.

— Так что давай, Алексей, продолжай, пиши, — полого так говорит Юра Юдин.

— У меня еще продолжение будет в «Пятницах», — вставляю я.

— Мы тут альманах готовим, — это опять Сережа. Литературно-художественный. Собери рассказиков 10-15 и приноси. Можешь и иллюстрации сделать. В народном стиле — типа лубочных.

— В стиле лубка что-ли?

— Это сложно. Тут надо вроде бы и сатирой ведать, и в то же время с легкой и теплой улыбкой это надо делать. Чтоб не обидеть и чтоб крепко зацепить человека. Некоторые это здорово умеют делать. Подначивать или подковыривать — как у нас называется. Вот к примеру. Я знаю одного такого человека — Колю Симакова — на пилораме механиком работал. Привезли раз на пилораму машину лесу — надо на доски распилить. Грузчиками были зэки (заключенные). Выгрузили лес. Сидят курят да байки травят. Хвалятся, что у них в зоне не жизнь, а малина. Все-то у них есть, чего душа желает — и водка, и чай, и наркотики.

Николай Симаков, худощавый, высокий деревенский мужик, лет 60, недавно на пенсию вышел, а все еще работал. Всю жизнь на пилораме. И замены пока не предвидится. Он копается со своими железками, настраивает станок на нужную толщину доски. И слышит все, что рассказывают зэки.

— А как же вы все это проносите в зону? — интересуется он. — Водку, табак, чай.

— Водку конвоиры приносят или вольняшки — только дай «на лапу». А чай совсем просто. Берешь полиэтиленовый мешок, насыпаешь в него чай и заталкиваешь в жопу.

— Тьфу, — плюется Николай. — И после этого вы его пьете?

— Так чай-то же в мешке, — возмущается зэк.

Николай морговито морщится, качает головой и уходит за каким-то болтиком в мастерскую. Принес, привернул. Включил пилораму. Зэки все так и продолжают сидеть на бревне, которое начинает дрожать и дергаться от врезающихся в него нескольких пил. Николай кричит, чтоб зэки слезали с бревна, но его голос заглушает работающая пилорама. Он машет рукой, чтоб ушли с бревна. Но зэки посиживают и посмеиваются, как дети на бревне-качалке.

Николай подошел, заматерился на зэков не на шутку. Бревно уже почти наполовину было распилено и конец его сильно подпрыгивал. Все нехотя слезли. Но один все-таки продолжал сидеть, который очень уж расхваливал свою жизнь в зоне. Он едва удерживался на прыгающем бревне.

— Ну ты, чучело гороховое, — подходит к нему Николай. — Тебе что сказано — «Уйди! Жить что ли надоело?».

— А че? — Как будто ничего не понимая, удивляется зэк.

— Уйди, — я тебе говорю, а то как звезданет по жопе-то. В чем чай-то таскать будешь?

Остальные зэки заготовали.

Вот такой рассказ-бывальщина — подвожу итог я. — Фольклёр...

У Сережи на лице никаких эмоций. Юрий тоже промолчал.

— А что, запиши. Может что и выйдет, — будто вспомнив обо мне нехотя произносит Сергей.

И почти без всякого перехода:

— И кто бы меня пельменями накормил? Громко заявляет он и потягивается. И при этом громко чихает два раза подряд. К чему бы это?

У КОЛОДЦА

Сегодня суббота. Банный день. Надо воды натаскать в баню. А морозы нагрянули до минус тридцати. Давно таких не было. Денек сегодня хоть и морозный, но какой-то весь светящийся, солнечный, приветливый. Тени от сугробов резкие, синие, синие. Но солнышко уже на лето повернуло — светит ярко, ярко, а за ветром и пригревает немножко. А зима, видимо, на мороз... Ночью аж за сорок переваливает.

Вот я и решил баню с утра оттапливать, чтоб к вечеру нагрелась, чтоб можно помыться, да попариться не мешает, что-то опять в груди заложило. Баня-то без каменки сложена. Пока топишь, тепло, как прогорело — живо все выстывает. Железная печка поставлена навроде «буржуйки».

Прихожу к колодцу, там Толя сосед, что рядом с колодцем живет, воды набирает. Увидел меня, улыбается во весь рот; блестят на солнце вставленные золотые зубы.

— Леха! — кричит Толян, продолжая крутить колодезный ворот. — Здорово, что ли? Как жизнь молодая? — а сам под хмельком с утра.

Я подхожу с санками. У меня на них две фляги стоит. Здравуюсь.

— Слушай, Леха! — Че-то ты много фляг-то наставил. У меня вот и то два ведра только. А я тут вам колодец постоянно чищу. Долблю. И никто чего мне что есть бутылку не поставит. Правда, нет, а Леха? — А сам улыбается, выливая воду из бадьи в свои ведра. — Ты вон какую статью-то написал. Читал я. Как там у тебя два мужика стоят на остановке и базарят.

— Это о том, как один рассказывает, что он пацаном в войну мешки ворочал? — Уточняю я.

— Точно, точно, про это, — Поддакивает Толян. — Про это и базарят.

— Толя, — спрашиваю его, — может ты тоже в войну работал?

— Ты что, Леха! Меня тогда еще и в помине не было. Мне только за сорок перевалило. Я еще молодой.

Хотя на вид ему можно было дать и за пятьдесят.

— Слушай, Леха, у меня вот такой случай в жизни был. Как-то меня на уборочную послали от ШААЗа сюда в Полевою. В августе месяце было. А дожди шли чуть на каждый день. Грязь по деревне непролазная. Да еще трактора понаделали ям. И вовсе не пройти, не проехать. А мы тогда зеленку возили на машинах. Мне лет восемнадцать тогда было. Как раз перед армией. Я тогда вот также как сегодня «под балдой» был. — Толян щелкнул указательным пальцем по кадыку, и подмигнул мне. — Доехали мы вон до того места, где теперь твой дом стоит. Там всегда грязюка непролазная. Там по канаве ручей с горы течет. Машина-та и забуксовала. Я хотел выпрыгнуть из кузова, да, видно, подцепился фуфайкой-то за борт. И полетел. И ноги-то у меня под колесо угадали. Я уж не помню, как там было все, головой стукнулся. Потом Аркаша, вон напротив тебя живет, выскочил, поднял меня, да понес на руках...

Два года я отлеживался, еле очухался, постепенно ходить стал. Потом мне повестка пришла из военкомата. На комиссию. В армию забирают. Я ничего не сказал врачам-то, тогда, сам знаешь, как в армию-то охота было.

Это теперь под ружьем не загонишь. А тогда, если в армии парень не был, так его и девки не любили, — а сам усмехается, — за мужика не считали. Раз бракованный.

А в учебке-то как нас начали гонять! Как начали! Свету белого не видишь бежишь. А сапоги-то будто бы пудовые на ногах. Бух, бух, еле тащишь их. Думаешь — как бы добежать, как бы сердце-то не выскочило. Вот тут-то про все свои хвори и забываешь. У меня с тех пор ничего нигде не болит. А то все стонал да охал. Я в учебке-то в Нижнем Тагиле был. А служил в Поволжье. Вот так меня и вылечили в армии-то, — он помолчал немного. Потом, будто вспомнив, спросил:

— Как хоть хозяйка-то у тебя?

— Да, все так же, на одном месте остановилась... не ходит... Вот баню топлю, да потом поведу ее. Холод, не холод, а помыться охота. Вот так и живем...

— Да, я бы того гада, да если бы встретил, как гниду бы раздавил... Голыми руками бы придушил, — не выдержал Толян и матюкнулся. — Ну, ладно, Леха, прости меня, подлеца, что этот разговор затеял. Передай от меня Наташе большой привет. Пусть держится. Жить-то надо как-то... А-а-а, — и Толян, как бы отмахнувшись от кого-то рукой, горестно подмигнул мне: «А я еще поплю маленько, — сказал он, и взялся за ведра. — Ты напиши, напиши. Как тут в деревне живем... Хлеб жуем. Робим, да вино пьем. Че делать-то, одна забота — горбатиться, да водку пить...

И он пошел, пошатываясь под тяжестью наполненных ведер.

— Спасибо тебе, Толя! — кричу ему вдогонку, — за колодец, и за добрые слова!

Рыженькая собачка засеменила за ним, таякая на летающих около сорок.

Голубое небо покачивалось в его ведрах. Мороз звонко поскрипывал под ногами, снег горел алмазной россыпью. Солнце сияло, не обращая внимания на человеческие страдания...

К ИСТОЧНИКУ

Сегодня воскресенье. День светлый, солнечный, искристый. Ни ветерка. Перемигиваются падающие снежинки. Середина ноября. Легкий морозец и солнце веселят душу. А свежий снежок, покрывший каждую былинку искорками, как бриллиантами, и вовсе очаровывает. В народе этот период только что пришедшей зимы, еще не надоевшей морозами, снегопадами да метелями-буранами, называют зимкой.

Накануне стояли необычные для начала ноября холода. Крепко заприжимала зима — до -30 градусов опустился ртутный столбик. Говорят, лет десять таких ноябрьских холодов не бывало. Через неделю холода закончились, помягче стало.

Вот я и решил сходить к источнику. За минеральной водой. Положил две трехлитровые банки в рюкзак и отправился. Денек чудный. Небо голубое, голубое, почти как весеннее. К горизонту даже зеленоватое. А у самой кромки белесое такое, истаивает, растворяется, сливается со снежным горизонтом. Если бы не морозец, да негромкое похрупывание снега под ногой, да не прямо поднимающиеся из труб дымы, то можно подумать: «А не весна ли это?» Уж больно солнышко ярко светит, аж глаза слезятся — на снег больно смотреть — яркий, искрящийся, с голубыми тенями от санных следов на дороге по свежевывавшему снегу.

За деревней и вовсе белоснежная пустыня захватывает душу своим голубоватым дымчатым простором, покоем и умиротворением. Санний след свернул к летним загонам, где стоят стога сена, одетые в белые шапки. Я бреду почти по бездорожью. Едва прослеживается тропка к источнику. Видимо, мало кто ходит. Не хотят испить лечебной водицы из пробуренной изыскателями скважины. Бежит драгоценная влага, по составу похожая на Эссентуки-4. Днем и ночью течет бесполезно. Такая же вода есть и на левом берегу Исети возле санатория, под Мыльниково. Там всегда очередь — городские жители на своих машинах с канистрами приезжают за минералкой. В магазинах она теперь очень дорогая. «Шадринская» называется.

Я бреду по буграм правого берега Исети. Река теперь подо льдом и снегом, поэтому берега едва угадываются. Вон возле тальниковых зарослей темнеют фигуры рыбаков. Истосковались мужики по зимней рыбалке. Это источник их редкой радости. Мой знакомый даже отпуск приурочил к этому времени. Как призастьило, он живо собрал свои снасти и на природу: вначале на озеро съездил порыбачить, потом на Исеть повадился. Это ли не прелесть посидеть и подергать увесистых окунишек по первому ледку! Тем более и погода стоит на славу — солнечная, с легким морозцем. Воздух сухой — легко дышится на воле. Ничто не беспокоит душу отпускника. Забываются все хвори и недуги. Не болит голова на рыбалке ни о чем другом, кроме того, как бы поймать рыбину покрупнее.

Даже забывается о той страшной теченской трагедии... Раньше не говорили о ней. Теперь же мы знаем все, но все равно с удочкой на реке. Хоть что ты с нами делай!

Устроится рыбак где-нибудь возле знакомого затонувшего куста-заде-

вы, возле искрящейся в снежинках полыни или крапивы — в этой зимней сказке под ярким солнышком, попыхивая горькой папироской, ждет не дождется поклевки. Тут на досуге можно и костерок развести. Как приятно пахивает дымком! Можно попить чайку из термоса и послушать рыбацкие байки. Самые заядлые рыбаки не успокаиваются, переходят с одного места на другое в поисках пристоявшейся на ямах рыбы. Бурят новые лунки, благо, что лед еще не очень толстый, садятся и, замершие, ждут новой поклевки.

...А я все бреду и бреду по едва заметной тропинке к источнику... Путь мой пересекают заячьи следы. От кого это косою со страхом удирал? Следы-ямки друг от друга далеко расположены. Кручу головой по сторонам. Ага, вон и они, загонщики, четыре человека с ружьями за спиной. Идут без лыж, в валенках, так как снегу еще тонко. Цепочка заячьих следов направляется в исетскую пойму — в тальниковые заросли, где легче схорониться в непролазной чаще. Прячься, зайчик, да побыстрее! Вот и самый главный охотник идет, на лыжах, в белом маскхалате, с ружьем в руках. Легко скользит он по свежему снежку и, скатившись с пологого бугра, направляется к прибрежным кустам, где спрятался зайчишка.

Кому до чего. У каждого своя «охота»... У каждого свой отдых. Свой источник радости...

Налибовавшись зимней округой, набрав воды, я возвращаюсь той же тропинкой домой. Все реже почему-то становятся мои вылазки на природу, на свидание с ней... Все больнее и печальнее расставания. То работа, то забота. Только изредка, в выходные дни, и удается вырваться.

ЦВЕЛА ЧЕРЕМУХА

Переехав из землянки в саманный молдаванский домик, мы с мамой посадили под окнами черемуху и яблоньку, да две бухарских вишни, на которых бывали крупные бордовые ягоды. Яблоки были хоть и небольшие, но ярко-красные и вкусные.

Кустик черемухи выкопали в лесу. Цвету вначале было немного, но соцветия были крупные. По весне заблагоухают аж голова кругом. С каждым годом все пышнее и пышнее цвела наша черемуха.

Я заканчивал техникум.

Как-то мы, военная и послевоенная безотцовщина, собрались у одного нашего дружка отмечать Первоймай. Тогда все советские праздники обязательно отмечали компанией. Родители — своей компанией. И мы — пацаны

— тоже решили отметить своей. Собрались. Кто бражки принес, кто бутылку вина. Девчонок мы тогда еще не приглашали. Стеснялись их вроде. Собрались в бараке у одного из друзей. Длинный коридор, а направо и налево — комнатухи, где жили одинокие свинарки. В комнатах обычно стоял стол, кровать и каминчик сложен. Собралось нас человек шесть-семь, нажарили картошки. Только приготовились в стаканы наливать, стучится к нам кто-то. Это оказалась молодая женщина. Она напротив жила. И одинокая...

— Ой, мальчики, как у вас хорошо! — Хоть бы меня пригласили, — посмеивается она, покуривая тоненькую папироску «Прибоя».

— Слушай, Соня, а что, давай приходи к нам! — говорит хозяин квартиры. — Если у тебя ничего не намечается, — а сам ухмыляется и подмигивает ей.

— Я что пришла-то. Дай-ка мне, Толик, пару луковичек. Потом отдам.

— Да брось ты. На. Давай, приходи!

— Ладно, подумаю, — уже в дверях отвечает она.

— А она ничего, а? — потирает один из нас, хлопнув в ладоши, будто большой специалист по женской части. А сам, наверное, еще ни разу в жизни не целовал ни одной девчонки. Мы улыбаемся. Вроде все понимаем, на что он намекает...

Через несколько минут опять появляется наша соседка в нарядном платье. Красивая... Притягательная... Она несет в двух алюминиевых чашках закуску: винегрет и студень. Комната наполняется запахом дешевых духов, шекочущих наше юношеское воображение.

— У-у-у, — гудим мы в голос. Довольные. Убегает еще на секунду и заходит с бутылкой вина.

— Тебя, Соня, сейчас поцеловать или потом, — подкатывает к ней хозяин комнаты.

— Можно потом, — поддерживает она, подергивая плечиками. Но будто тут-же передумав, отвечает: «Ладно, Толик, давай сейчас!» — и подставляет щеку. Толян от неожиданности немножко опешил. Смущенно вытянул губы и едва прикоснулся губами к женской щеке... Соня подошла к столу.

— Ну-ка, мальчики, потеснитесь, — и раздвинув наши юношеские костистые плечи, стала садиться в середину между мной и Вовиком. У меня от прикосновения женского тела кровь прилила к лицу. Будто током обожгло. Я не помню, как мы пили вино, играли в карты. Меня жгло это жаркое тело, как железная печка-буржуйка. На которой в землянке мы с ребятами пекли резаные ломтиками картофельные печенки.

Тем более, когда Соня подвыпила, она стала запросто обнимать нас, по-

товарищески. Мы для нее были еще пацаны. Нам где-то по 15—17 лет было, а ей около 30. Как она заразительно смеялась. Ее тело дышало жаром, окутывая нас какой-то необъяснимой вязкой паутиной. Она-то знала это... А мы, чуть захмелевшие от выпитого еще сильнее хмелили от этих искристых глаз и милой улыбки, от ее жара и свободы. С нами так запросто обращались впервые...

— Ну, что вы за мужики! — Еще сильнее разжигая страсти, говорила Соня. — Ну, хоть кто-нибудь меня обнял бы, а? А то сидите, как железные! Не додумаетесь.

И она брала чью-нибудь руку, рядом сидящего, и запросто клала себе на бедро.

— Вот так! Вот, молодец! И покрепче держись! Чтоб я никуда не убежала! А то обижусь на вас. И пойду искать кого-нибудь посмелее!

А мы сидим рядом с нею, потеем. Пот чуть с носа не капает. Но руку не убираем. Хотим выглядеть мужчинами.

— Ну все, мальчики! Хватит сидеть! Состаримся когда, тогда и наиграемся в карты! Давайте-ка лучше в «офонаса» поиграем! Пойдем-те ко мне. Здесь стол оставим, не будем убирать. А мы не были против. В «офонаса» так в «офонаса». Пацаны и есть пацаны — лишь бы во что-нибудь поиграть. Одному завязали глаза платком и он стал ловить нас. Визгу, шуму стало. На весь барак. Вот это был праздник. Впервые такой шумный, веселый.

А вместо одной Сони как-будто бы стало пять... То тут она, то там. И никак ее не поймаешь. Каждый галящий обязательно старался только ее поймать. Осмелели. Подвыпили, да еще глаза завязаны. Не стыдно. И огромное желание поймать Соню, хотя бы дотронуться до ее упругого тела. Но она увертывалась, взвизгивала, когда до нее дотрагивались.

Бывали и счастливые секунды, когда удавалось поймать Соню. Приходилось ее крепко-крепко держать, иначе она тут же вырывалась. А чтобы удержать, прижмешь ее так, что аж разгоряченное тело вибрирует все, пытаясь высвободиться. Это что-то было неопишное. Каждая клеточка твоего тела трепетала от какого-то еще не изведенного ранее чувства близости женщины. Твое тело вспыхивало от ее тела как спичка. А когда развязывали тебе глаза — то ты не знал куда девать свой взгляд... И руки еще долго дрожали...

Было раннее весеннее утро. пышно цвела черемуха, дурманя ароматом своим. Через два года, когда меня провожали в армию, также собирались у нас. Под черемухой. Уже с девчонками. Играла радиоло. Мы танцевали, прижимаясь к своим девчонкам. Я провожал Аннушку. Возле ее дома остано-

лись. Она пригласила меня домой. Родителей не было дома. Я не решился. Мне нравилась другая девчонка. Так и распрощались мы с ней...

Теперь часто встречаемся в городе. Она уже бабушка. Нянит внуков. Улыбаемся заговорщицки, вспоминая тот вечер.

Хорошо было... Черемуха цвела...

«Нельзя, нельзя черемуху зеленую ломать...

Нельзя, нельзя девчоночку несватаную брать...

Не сватану, не венчану, не обрученную...».

Это я вспоминал самую любимую песню, которую поет моя мама.

РОДНАЯ СТОРОНА

Время неумолимо ускользает. Не остановишь. Весна проскочила. лето давно наступило. А я так и не пишу ничего. То голова побаливает, то простудился, то суставы ломит, то ухо, то горло... То сердце заколет... Да не я один не в себе. Вон мой друг Сергей (токарь-универсал высшего разряда) нет-нет да тоже на больничном.

Поезжали мы из родных мест после школы в поисках лучшей доли, но только наступает отпускная пора, все-таки неумолимо тянет нас в отчий дом.



Зовет вновь и вновь окунуться в то далекое прошлое, в наше детство и юность.

День выдался солнечным, но с резвым прохладным ветерком. Но когда вдруг солнце выглядывало из-за ярко-белых облаков, то голову припекало. Решили мы с Сергеем на реку сходить, ельчиков на стреже подергать. Спустились с горки по заросшему травой заулку к речке Баранихе, что течет вдоль всей Ковриги. У Сергея сразу пошли поклевки — он тут каждую ямку знает, вырос здесь. Родительский дом стоял на крутом берегу возле самой реки. Да и отец был первый рыбак в деревне. Сергей выловит две-три рыбки и переходит на другое место вниз по течению, ищет, где рыба пристоялась. Иной раз хороший такой «хрушкой» ельчик провернется, серебристый, упругий, круглый такой, почти как веретешко. Так и идет вперемежку: то ельца, то чебака, то пескаришка выудит. Глядишь, и на добрую уху скоро хватит.

Даже старые-престарые бабки стоят на реке с удочками. Они не ходят вдоль по Баранихе, а на одном месте удят. И все больше пескариков. «Дак, ково мне и надо-те, — отвечает бабуся, — штук до десятка рыбешек выужу — вот мне и уха готова, вот мне и обед. А вечером разогрею, дак еще и поужинаю». И бабушка, поплевав на крючок с наживкой для лучшей поклевки, закидывает удочку вверх по течению и наблюдает, как поплавок прыгает на волнах, приближаясь. Вот поплавок исчез. Рыбачка дергает удилище на себя и вверх — на крючке посверкивает чешуей очередной пескарик.

Я, раздевшись до пояса, прилег на зеленом, упругом травяном коврик. Закинув руки за голову, смотрю на голубое до звона в промоинах меж облаками небо, где зигзагами мечется полиэтиленовый змей. Двое мальчишек бегают по релке, размахивая руками. А третий — в белой рубашке, лет двенадцати паренек управляет змеем, дергая за нитку и заставляя его проделывать виражи и пируэты.

По лужайке бежит и освещает ее неумолимый солнечный луч. То высветит небольшой табун лошадей, вольно пасущийся на поскотине, то белые стада отдыхающих гусей и уток, спрятавших свои носы под крыло. Видимо, к прохладной погоде. Пока же все выглядит довольно мирно. Только движется освещенная полоса релки, набегая на жующих жвачку коров, на глухо стрекочущий возле летних загонов голубой трактор «Беларусь» с тележкой. И, скользнув по верхушкам тальниковых зарослей, увлекает за собой мой взгляд все дальше, дальше и скрывается где-то в глубине соснового бора.

Во всем этом близкий и созвучный моей душе мир. Но умиротворение и благодать лишь кажущиеся...

В памяти возникают голубые утренние сборы на сенокос. Будем свозить на волокушах сено к зародам, сидя на костлявом хребте лошади. Или вдруг

ощутишь, как вдыхаешь раскаленный летний воздух, полный ароматами цветов и трав. А то представишь себя летящим на коне в пылающем свете вечерней зари, соревнуясь со сверстниками. А потом спешишь искупать коня и охладиться сам. Помнится, как мы тоже запускали змеев. Только делали их из газеты, а не из пленки, как нынешние мальчишки. Наши змеи летали высоко-высоко, почти скрывались в поднебесье.

Возвратясь в родные края, вглядываюсь в то же голубое бездонное небо с лохмато-кудрявыми облаками, на фоне которых мечется неукротимый «Змей-Горыныч». У горизонта кучевые облака громоздятся друг на друге, синеют напряженно.

С того далекого детства мы продолжаем ловить рыбу и купаться в Исети, поим скот и выращиваем овощи на заливных огородах. Потому что безоглядно верили своей стране. А малую свою Родину — Исеть или Бараниху — боготворили за чистоту и щедрость, не зная о трагедии речки Течи от зловещего челябинского "Чернобыля".

И куда нам деться теперь от родного края, от своих корней? Здесь наша память обо всем лучшем... Здесь, видимо, нам, нашим детям и внукам придется испытывать на себе эксперимент на выживание, как подопытным кроликам...

Забывшись на мгновение, с прищуром смотрю в голубые дали. Смотрю на быстрое течение речки Баранихи, на ее серебристо-свинцовые волны на перекатах. Смотрю на грустно-притихшие ивы возле густо зеленеющих грядок на нижних огородах, с развешенными на изгородях домотканными радужными половиками. Вижу, как молодая женщина, подоткнув цветастое платье и обнажив свои стройные ноги, вошла в речку возле плотика, начала полоскать белье. Но вот она, словно услышав свое имя, медленно распрямилась и, приложив ко лбу руку лодочкой, пристально заприглядывалась вдаль.

От этого простора и легкого забытья душа наполняется ожиданием доброго и чистого. Ощущаешь что-то похожее на радость встречи с близким и родным человеком после долгой разлуки...

И так хочется верить, что не было «теченской трагедии», что земля не отравлена... Но, увы, память неистребима. Оттого и грустно... И больно...

НЕЗНАКОМЫЙ СТАРИЧОК

Стоят теплые безоблачные осенние деньки. Горят на солнце золотистые клены. Какая-то до неприличия возвышенная грусть разливается по округе. Любуюсь и впитываю это очарование, ожидая своего автобуса возле кино-

театра «Октябрь». Подходит ко мне незнакомый старичок, опираясь на тросточку. Посмотрел внимательно на меня.

— А Вы не помните, как хотели нарисовать мой портрет? — ест меня глазами старичок.

— Да я заходил к одному вашему преподавателю. — И приблизив лицо, зашептал: «Выпить надо было, а одному не хотелось. Вы предложили мне тогда попозировать, а я что-то отказался. Еще Вы что-то интересное тогда сказали, но я уж не помню теперь. Пьяненький был... Я уже 10 лет как на пенсии. 50-ти пошел.

— По болезни что-ли?

— Нет, не по болезни. Я смрадом заводским дышал всю жизнь. Вот и заработал пенсию пораньше, чем остальные. А с ней и хвори все...

— Не в ШААЗовском литейном случаем?

— А как ты угадал? Точно, там. Я еще урвал у жизни десяток лет. Пожил немного... И свободным... И на чистом воздухе... Ты думаешь, почему эпитафии-то висят на доске объявлений? Мужики на фотографиях — один другого сменяют.

Вышел работяга на пенсию и в «ящик». Иной даже пенсию не получает. Другие и не доживает до нее и мне-то хоть Бог еще десяток лет дал порадоваться. Скоро, правда, 60 стукнет... грустно...

Смотрю я на старичка. А он и верно — одной ногой уже туда, в запретный мир, в царство Божие направился. Одна кожа да кости. И пиджак висит на плечах, как на пугале огородном, болтается. Лишь осталось в нем что живое, так это глаза. Еще с любопытством и тоскливой иронией на-



блюдают за собеседником. В них еще есть тускловатый блеск и живость мысли. Но очень уж вялые и уставшие. Стоит, согнувшись, опираясь на тросточку, тяжело дышащий старый морщинистый больной человек. Думаешь, дунет ветер и унесет его точно пушинку. А пока он стоит, держась за свою спасительницу, как за соломинку утопающий — за трость. на полусогнутых, дрожащих в коленях ногах. Старое, пыльно-серое, бывшее когда-то черным, а теперь дырявое спортивное трико обвисло, вытянулось на коленях, неумело и грубо заштопано заплатами другого цвета. На ногах черные стоптанные суконные ботинки, хотя холодов еще не было. Видимо, это его единственная, но все времена года, обувь, которую он не снимает даже летом.

— Как рисуешь все еще? — интересуется старичок.

— Рисую помаленьку.

— Рисуй, рисуй! У тебя это хорошо получалось. Я тогда видел. У тебя правдивее всех портрет выходил. А сколько тебе уже стукнуло? Ты тогда молодой был. Моложе всех. Симпатичный такой, с маленькой русой бородкой. А теперь звон какая борода выросла. Но ничего, тоже красиво, хоть и седая уже.

— Мне-то? Да вот скоро полста подскочит. Через годик.

— Немного еще. Тебе надо еще лет десяток порисовать в полную силу. Ты способный. Не бросай.

— Мне вон пятьдесят-то было, да я тут к матане к одной побегивал еще. От жены-то. Молодой был, казалось. Недавно хозяйку свою схоронил. Теперь один маюсь... Да еще эта свистопляска по России началась. Каждый урвать старается... Неразбериха...

— Да, тяжело стало жить. некогда творчеством-то заниматься. Все какие-то заботы другие. Но бывает, иногда поработаю немного. Найдет блажь. Но редко. Помоложе-то был, так чаще выкраивал время на рисование. Да и желание большое было. Бывало на целый день уберешься из дому на природу и пишешь этюды. А сейчас я совсем редко бываю на воле. Если бы на службу не ходить. Но тогда на что жить? Картины никто не покупает. Я сейчас тоже на заводе работаю. Уж 10 лет скоро будет. тоже отравой дышу. Болею часто.

— Вот то-то и оно, что гробим себя, свое здоровье и талант, — ... У кого он есть. Все коту под хвост ради несчастной подачки на кусок хлеба... А потом подышаем, как собаки, под забором. Старик еле перевел дыхание. Закашлялся.

— Ну, ладно, я пойду тихонько, а то что-то нерадостные мысли появ-

ляться начали. И он поковылял, прихрамывая да переваливаясь, опираясь на трость. Но поравнявшись с таким же пожилым человеком, как он, остановился. Поздоровался. Видимо, еще знакомого встретил. Подсел рядом на трубу заборчика. Это единственная остановка, где не было ни будки, ни лавочек. Все ожидающие сидели на трубе, вместо скамейки.

Я тоже решил посидеть. Подошел к ним. Что меня подтолкнуло показать старичку фотографии с моих картин? Не знаю. Он еще напоследок сказал мне, чтоб я не бросал рисовать. И чтоб больше портретом занимался. Говорит: «Начни с себя, с автопортрета. Потом сделай портрет жены. И так далее.

И тут я вспомнил, что у меня в сумме лежат фото, где и автопортрет есть и портрет жены. Достал и предложил взглянуть старичку. Он глянул на меня, резко отшатнулся, как бы стараясь разглядеть меня повнимательнее. Посмотрел еще раз на автопортрет. Потом опять на меня и удивленный удивленным, онемел. Смотрел, смотрел, долго... Наконец его как бы прорвало. «Как? Уже готовы? Не успел я произнести мои пожелания Вам, а картины уже сделаны. Вы что ли волшебник? Что задумал — все уже сбылось? И так быстро. Да, волшебник! — отвечаю.

— Вот это здорово! Прекрасные работы! Особенно портрет жены! Давай дальше. Еще есть?

И я подал ему остальные фотографии, где были еще портреты и пейзажи с натюрмортами. Я столько хвалебных эпитетов за всю свою долгую жизнь не слыхивал ни разу.

— Вот это здорово!!! О, красота-а!!! Божественно!!! Ну, молодец!!! Продолжай в том же духе!!!

— Тебе теперь надо до 80 лет работать и работать! Творить!!! С таким-то Божьим даром! Да ты такое создашь! На Веки оставишь свое имя! Чудесно! Чудесненько! И когда ты только успеваешь столько сделать?

— Как, когда? По выходным, да по ночам. Больше-то некогда. С темна до темна — на заводе.

— Слушай! Пока я еще живой, мне как-то бы тебя надо разыскать. Как-то бы найти свои «Пенаты». Ты где живешь-то? В Погорелке?

— Нет. В Полевой.

— А если я приеду к тебе, ты покажешь мне свои работы?

— Приезжай. Покажу.

— А как там тебя найти?

— Спросишь художника. Все покажут.

— Во, правильно. Не сообразил. С бородой-то вон ты какой приметный. Охота мне твои работы «живьем» увидеть. Да когда я соберусь. Опять вот

сегодня подзакосел. Да и доживу ли? Юбилей у меня приближается. Шестидесятилетие... А больше ШААЗовцы не живут...

Старичок как-то сразу сник. Ссутулился. Постоял, посмотрел на меня грустно, грустно и, попрощавшись за руку со мной и соседом, поковылял дальше по тротуару.

А когда он скрылся из виду — еще долго в памяти моей тлела его вихляющая походка и тоскующие глаза. Он так и не назвал себя. И я что-то не сообразил. Одурманил он меня лестью — восхитительными отзывами. Наяву ли это было? Или пригрезилось? Неужто сам Всевышний в образе незнакомо-го старичка похвалил меня за мои труды.

Вот похвалил человек мои даже не картины, а фотографии с них, и стал для меня вроде родного. Я был готов его обнять и расцеловать.

Вот что значит признание.

А через год я открыл в городском музее свою юбилейную персональную выставку, где было более 200 картин, где я услышал много похвал. Сбылись предсказания незнакомого старичка.

Но старичка я больше нигде не встречал. Жив ли? Но его эпитеты повторили многие и многие посетители моей выставки. Спасибо Вам огромное, незнакомый старичок и все мои почитатели!

ЖЕСТЯНЩИК

Подходит к моему столу молодая, невысокого росточка женщина с пышными бело-крашенными до плеча локонами и ярко накрашенными губами.

— Мы собираем деньги. По триста рублей.

— И куда это?

— Жестянщик умер.

— Я не вдаюсь в подробности. Достаю пятьсот. Беру сдачу. В отделе постоянно собирают на что-нибудь. То день рождения, то на пенсию кого-то провожают. Но чаще всего на похороны. Женщина процокала как лошадка к следующему столу. Казалось бы все. Можно забыть этот будничные эпизод. Но я не могу успокоиться. Но не от слова «умер». Мы до того привыкли, что мрут люди чуть не каждый день у нас на глазах. Не сходят эпитафии с фотографиями на заводском стенде объявлений. Из головы не выходило слово «жестянщик». Целый день я просидел как очумелый. Точно кто-то молотком забил в мои мозги: «жестянщик умер».

Я долго перебирал мужиков из цеха. То одного представляю, то другого. Многие из них «крепко зашибали», закладывали «за воротник», да «квасили» почти каждый божий день. Все время под хмельком. «На подсосе» —

как в цехе говорят. Их однажды разделили. Кого-то перевели в другой цех, часть — поувольняли.

С одним из них мы встретились в июне, во дворе городской больницы. Я лежал с бронхитом. А он пришел проведать больную жену. Поздоровался со мной «по ручке». Подвыпивши чуть.

— Думал, ты меня не признаешь. Я знаю, ты у нас наверху работаешь. Ты не больно-то с нами якшался. Мы работяги, дак. У тебя своя работа, у нас своя. Заболел, что ли?

— Третий месяц маюсь, лечусь и толку никакого. Как прилип этот бронхит, никак не проходит. А теперь лекарств в больнице никаких нет. Все на свои деньги приходится выкупать. Да по коммерческим ценам. А денег на работе не платят. Вон только за февраль дали. Не то что на лечение нет, жить-то не на что. Вот жизнь пошла! Хоть загибайся...

От такой длинной речи я аж закашлялся и едва остановился. Все нутро вывернуло. Аж до слез.

— Правильно ты говоришь, что хоть загибайся. У нас мужики многие кашляют. Это теперь «навечно». Кругом отравы. Я вот сегодня опять маленько «отравился», — посмеивается мужчина и шелкает себя по горлу.

— Мы-то хоть пьем да курим, а ты-то от чего болеешь?

— Да мало ли нервотрепки. Мне врач сказала, что это у меня от нервов. А говорят они не восстанавливаются.

— Да, обстановка на заводе сейчас особо нервная. Кого сокращают, кого увольняют, а кому по собственному желанию предлагают уйти. Рассказал, что его уволили. Обижается на начальство.

— Когда им хотелось выпить, так к нему бежали. «Где-то у тебя, Михалыч, тут говорят, спиртшко оставался?». — «Дак он же подкрашенный. Сами же велели подкрасить, чтоб боялись пить-то». «Ничего, и такой сойдет! Давай доставай».

— Выходит, сами тоже не ангелы. На-ко вот бутылку кефира. Жена не берет. А домой неохота тащить.

Я взял. Поблагодарил. Посидели на лавочке. Поговорили еще.

— Ты там в отделе-то не шибко разговорчивый. Постоишь, где мы курим, и опять в отдел. Так?

— Так! Тут належался за три месяца, намолчался вдоволь. Меня тоже разжаловали. Не надо стало. Перевели в конструкторы. Приковали к столу...

— Да, ШААЗ — этой такой концлагерь. Зайдешь утром — темно. Уходишь вечером — опять темно. Точно в тюрьме целый день. Правильно ты говоришь, что осталось приковать к столу или к станку, чтоб вкалывал толь-

ко. А они как баре ходят. А нам и по территории не пройти. Живо «полицай» с красными повязками сцапают, если без «аусвайса» идешь.

А-а, ну их на хрен... Не хочу вспоминать. Я теперь вольный казак. Куда хочу, туда иду. Ни у кого не спрашиваю. И не унываю. Рабы везде нужны. Кто будет начальство-то обрабатывать?...

...Перебираю дальше всех в уме и не могу представить — кто же все-таки этот жестянщик? Иду по коридору, навстречу Павел Павлович — испытатель отопителей. Дай, думаю, у него спрошу.

— Кто умер-то?

— Да такой высокий, худой был. Согнувшись ходил. Вот, выходит, совсем загнулся... И разводит руками, невесело растянув губы в улыбке.

— Это с бородой-то, что ли?

— Ну-ну. Он самый. Как у тебя борода.

— Старый он?

— Да нет. Всего 58. Еще даже не на пенсии. Рак горла у него, говорят...

— Страшно-то как...

— Вот такие дела, брат...

Решил узнать, как звали этого жестянщика. А то неудобно. Человек умер. Деньги собрали. А имени-то-отчества не знаю. «Жестянщик», да «жестянщик». Пошел в цех. Пусто. Одна только кладовщица пришла с обеда. Я к ней: «Как хоть звали жестянщика-то. Отвечает: «Лемехов Иван. Болел месяца четыре. Потом его вывели на группу. Вроде вторую дали. Такой большой. Худой. С бородой. Да у него еще одна нога плохо шагала. Подтаскивал ее. А как выпьет, она у него совсем не слушалась. Чуть ли не волоком таскал. Пить-то ему нельзя было. В груди тоже у него все болело»...

— Пал Палыч мне сказал, что у него рак горла был, — добавляю.

— Ну вот, видишь! Он весь какой-то еле живой был. Доходяга, одним словом. Вчера схоронили уже...

А отчество она тоже не знала. Все его жестянщиком звали. Я подхожу к старому рабочему. Тот посмотрел на меня поверх очков:

— Григорьевич, — отвечает.

— Спасибо, — говорю я и отправляюсь к себе на второй этаж.

Откуда-то вдруг во мне взялось смутное беспокойство. Вроде что-то похожее и со мной происходит. Нога тоже не подчиняется. И в груди болит. И фамилия тоже Лемехов. И бородатый. Вспоминаю, что мой начальник КБ Вовин говорил тоже, что не знает, как ему с ногой быть. Онемела. Не чувствует ничего. И худо подчиняется. Едва ходит. Теперь, правда, отошло чуть. Полегче стало. Но совсем-то не проходит. Он сидит в отделе буквально в метре от меня. Слышу, все подкашливает. Целый день. Да и другой началь-

ник КБ чуть подальше сидит (в 3-4 м.) тоже все покашливает. Как будто они соревнуются между собой. «Кто кого перекашляет»...

Теперь и я к этому дуэту присоединяюсь частенько. Не подумайте, что начальникам подпеваю. За два года работы в отделе уже раз 5 или 6 был на больничном. И все бронхит. Теперь уже хронический пишут. А справа рядом с моим столом стоит стол Гвоздина. Этот совсем редко показывается в отделе. Все на больничном. Мы с ним вместе в городской больнице лежали недавно. Он подряд четыре месяца проболел. Дали третью группу. Тоже из-за бронхита. И другие тоже не отстают. Часто болеют. Невеселая картина вырисовывается. Дадут путевку в профилакторий. А там банки да ингаляцию назначат и лечись. А это — как мертвому припарка. Никакого толку. Лекарств нет.

Третий раз встречаю Павла Павловича, несет ведро с бензином. Воняет на весь коридор.

— Куда Вы его? — спрашиваю.

— Как куда? Отопители гонять. (Он испытывает новые опытные образцы отопителей).

— За вредность Вам платят?

— Нет тут никакой вредности.

— А куда выхлопные газы деваются?

— Как куда — в вытяжную вентиляцию.

— Понятно. А теплый воздух не вреден?

— Нет, конечно. Ну что? Узнал отчество-то? Григорьевич он был. Иван-то.

— Да я уж узнал. Сходил вниз.

— А зачем тебе?

— Да вот, — умер. Деньги собирали. Говорят — «жестянщик». Лемехов. Сегодня узнал, что звали его Лемехов Иван Григорьевич. Оказывается мой однофамилец был. А я и не знал.

— Ты видел его? С бородой тоже! Худущий. Еле ноги таскал. Говорят, рак.

— Это говорят не болезнь, а Божье наказание нам за грехи наши... За неправедный и неправильный образ жизни... (Что он, мол, курил, да пил). Помолчал, добавил грустно: «А про экологию не говорят ничего. Может это нас родной завод травит... У нас в последнее время четыре человека умерли. И у всех рак горла. Отчего бы это? Задумаешься... Никто до пенсии не доживает.

— Да, тоскливо становится. Мы расходимся по своим местам.

Так бы и забыл про жестянщика. Недавно проболел месяц, меня выписали. Через несколько дней пошел в поликлинику. Опять что-то скис. Недомогаю. Спрашивают фамилию в регистратуре: «Лемехов» — отвечаю.

— Иван Григорьевич?

— Меня аж всего передернуло — жутко стало.

— Нет. Его давно похоронили. А я Леонид Сергеевич.

Достала мою карточку.

А «жестянщика» спокойно отодвинула в сторону... Она ему теперь не нужна будет больше...

Пришел я за получкой в отдел. Рассказываю, как лечусь. Что ничего не помогает. Слабость и мокрый.

Начальник КБ Вовин участливо рассказывает: «Так тут мы все с хроническим бронхитом. Отдохнешь на больничном с месячишко и опять вперед. Точно, до самой смерти. Вон к Валерьевичу обратись. Он все тебе расскажет. Что и как лечиться. Какую травку пить, какие лекарства принимать».

Конструктор Саша спрашивает меня: «А ты курил раньше?».

— Да, — отвечаю.

— Ну вот, снова и начинай. Зря бросил. Утром как покуришь — хорошо продирает. Отплюешься и все нормально.

— Бегать, спортом надо заниматься — советует начальник КБ. — Как я. Каждое воскресенье на лыжи и никаких бронхитов. — И покрывает: «Кхе, кхе». — И улыбается.

КАК ВСЕ?

Возвращаюсь однажды с работы, а знакомый догнал меня и заводит такой разговор:

— Ты знаешь, я почему-то решил тебе признаться, что я давно уже мертвый хожу, живой труп, умер почти... Вот так и живу... Из дому на работу, с работы домой — и так каждый день. Все ужасно надоело, а что поделаешь? У меня уже никаких стремлений не осталось, никаких целей и никаких идеалов... А вот ты человек творческий, у тебя есть цель — творить. У тебя главное произведение еще не написано, поэтому у тебя есть стремление и смысл в жизни. Так?

— А у других людей как? Все мертвые что ли? — спрашиваю его.

— Да, в основном мертвецы.

— И весь мир?

— Нет, в других странах у людей есть цель — бизнес, а нам все никак не

дают развернуться, давят и давят. Вот мы и пьем, заливаем раздавленную душу. Для себя нам не дают пожить без принуждения, чтоб работа в радость была.

— Но нас как учили жить? Надо делать все для Родины. Все силы отдавать на благо процветания нашей дорогой и горячо любимой Отчизны. Не жалеть для нее ни крови, ни самой жизни!

— Так оно, учили... Запудрили нам мозги крепко. А толку? Оказалось, что все на так. Это нам «лапшу на уши вешали». Оказалось, что кто-то там попользовался нашим трудом и живет теперь припеваючи, как при коммунизме... А мы батрачим на них.

— На кого это?

— Да, на эту, как ее — партократию или бандократию. Все едино. Хорошо хоть ее сейчас разгоняют. Но и кроме их полно заразы... Видимо, мы были, есть и будем всегда рабами. А при рынке — на мафию будем горб гнуть, или на другого хозяина. Но ты-то не будешь, ты образованный, а мы кто? Неучи одни.

— Ты не прав. И я такой же раб, как и ты. Нас так воспитали, чтоб подчинялись беспрекословно... А чуть что не так — сразу по мозгам... То ли приказом-указом, то ли инструкцией-распоряжением, то ли выговором да увольнением... А то и психушкой да тюрьмой, если свое мнение имеешь... Чтоб другим не повадно было. А другие-то вместо того, чтоб против сказать — рукоплещут и выдвигают. Так легче выжить...

— Это ты точно подметил. Сразу видать, что грамотный, не то что мы. Соображаешь. Не зря тебя в институте учили.

— Извини, но этому там не учат, этому жизнь научила...

— Это верно, жизнь научит... А правда, что ты мой новый дом нарисовал?

— Правда.

— А можно посмотреть. Может, я куплю у тебя эту картину.

— Пожалуйста.

Заходим ко мне в гости. Попили чаю. Показываю картину с его домом.

— Хорошая картина, — любитесь знакомый. — Мне понравилась. Куплю. Пусть дети смотрят — какой им отец дом отгрохал. Все равно я, наверное, скоро умру... У-у-у, как много у тебя картин. Ты можешь миллионером теперь стать — только продавай.

— Увы, никто не покупает... Поэтому я так же, как и ты, обязан ходить на работу каждый день, вместо того, чтобы творчеством заниматься. Такая у нас система...

— Вот и поговорили. Ты никому не продавай мою картину. Договорились? Ну, пока.

Опять встречаю после работы своего знакомого.

— Как день прошел? — спрашивает. — Какие в жизни улучшения? Лучше-то хоть стало, нет?

— Нет, — отвечаю. — Только хуже. Жена все болеет. Какие там улучшения. Опять вот в больницу в который раз положили. Ты же знаешь, что с ней два года назад произошло?

— Да-а, ни за что изувечили. И что все не могут найти никого?

— Нет.

Вот так. В бездну катимся. Люди как звери стали.

Нет ничего святого... Кругом один дефицит. Вот и успевают хапнуть, готовы друг у друга из глотки вырвать. Дикость и уголовщина. А иная сесть возвысится на какую-то копейку, стоя за дефицитным прилавком или престижной должностью, а выкобениваются на червонец, представляют себя начпупсом...

Социалистический лагерь превратился в сплошной гулаг. Посмотришь вокруг, на физиономии написано, что это бывший зэк, а это будущий, потенциальный... Неужели это от рождения заложено? Или нас так государство воспитывает? Среда, обстановка, время, пример родителей — все влияет, конечно. Но главное, я считаю, то, что мы несвободны, что мы подневольны, что мы рабы. Психология наша рабская, а отсюда — дикая... Бескультурье и бездуховность.

— Короче, — зверей в нас воспитывают, чтоб грызлись что ли? — поддерживает мысль знакомый.

— Да, верно. А самые озверевшие из рабов — это уголовники; они всех и вся ненавидят за то, что раздавлены беспределом наших и своих лагерных законов.

Да и на воле-то законы стали какие-то лагерные. Чуть кто власть заимел — корчат из себя «паханов», и чтоб все перед ними «на цирлах» ходили б, а нето в порошок сотрут, — добавляет мой спутник. — А я вот почему-то никого не боюсь, — заявляет он. — И никого не люблю: ни тебя, ни жену, ни начальников. Мне одна дорога — в могилу. Я уж тут и так мертвый хожу. Нет у меня цели... А у тебя есть — ты творческий человек. Что-то все думаешь, ходишь, размышляешь. Я вот выпил сегодня. Заметно? Нет? Хотя хозяйка у меня ушлая, все равно вычислит и узреет, — ухмыляется мой собеседник. — Ты на меня не обращай внимания. Много могу всякого наборонить.

— Почему наборонить? Ты тоже разумные мысли высказываешь. Не зря говорится в пословице: «У кого что болит, тот о том и говорит».

— Да-а, я только так, по пьяню больше болтаю. Когда выпью, — лезет в башку всякая дребедень. Вот, например, если я начну воровать тоже, как там «наверху» дачи делают, да строить второй этаж к своему дому — люди-то скажут: «Вот умеет человек жить — все достает. Руки у него золотые — все сам, своими руками сделал». А другие — завистливые — заплетничают: «Нигде ничего нет, а у него есть, не иначе как ворует или с мафией связан».

...А потом придут дяди в черном да и вытряхнут из своего дома, как деда моего; и все мои труды пойдут прахом. И дом кому-то достанется, а не наследнику-сыну, ради которого все дело со строительством затеял.

— Ну как, берешь картину со своим домом? — вспомнил я о вчерашнем разговоре.

— Какая там картина, жена ругается, что опять пьяный прихожу, а если еще про картину заикнусь — вовсе из дому выгонит, за картину-то надо хорошо заплатить, а у нас теперь не лишка деньжонок-то, тем более, что все дорого стало. Так что извини, дорогой, пока не могу.

Остановившись неожиданно, мой знакомый повернулся ко мне, внимательно посмотрев в мои глаза и пытаясь что-то прочесть в них, сказал с добрым участием:

— Но я вот почему-то жалею тебя. Барахтаешься ты, и никак не можешь выкарабкаться из этой тины... То одно, то другое... А вроде человек грамотный.

Я опешил от неожиданного участия в моей судьбе.

— Да-а, — растерянно протянул я. — Наблюдательный ты, оказывается, человек. Приходится булькаться... Кругом одни наблюдатели...

— Все верно. Живем все поодиночке, да друг за другом наблюдаем — как бы кто лучше тебя не зажил. Барахтаемся по одному да вином залечиваем свои невзгоды. Одна утеха осталась — забыться на миг, не помнить, не видать всего кошмара, к которому жизнь пришла... А те, что «наверху», те умнее нас с тобой, поэтому они стаями живут... По волчьим законам. И уголовники также...

— Да, нерадостная картина вырисовывается. А за то, что ты меня пожалел, спасибо тебе, не такой уж ты бессердечный, как сам на себя наговариваешь. Еще раз большое тебе спасибо.

— Не за что. Подумаешь, невидаль какая — человека пожалел. Если помог — тогда другое дело, а тут всего-то — пожалел да и только. Ерунда какая.

— Нет, не ерунда. Может, мне от этого барахтаться легче будет. А мо-

жет, и вдохновение придет... Вот увидишь... А, может, мне бросить все творчество к чертям собачьим и не барахтаться, а жить как все? Как все: как ты, как другие? Задаю вопрос то ли ему, то ли себе...

— Как, как все? — не понял он. — А кто творческим человеком будет? Я что ли? Нет, нет, я все равно уже мертвый давно хожу... А ты — давай, брат! Действуй! Твори!

ЧЬЯ-ТО ДУША

Я почему-то больше люблю природу, чем завод, на работе мне приходится сталкиваться с неодушевленными предметами. Будь то металл, бумага или люди. В природе же все движется, все интересно, все живое — деревья и цветы покачиваются, словно разговаривают между собой. Листочки шепчутся о самом сокровенном. А люди больше молчат...

В нашем отделе осенью бабочка появилась. Прихожу на работу, а бабочка все там же сидит — на оконной перекладине и поглядывает на улицу. Окна у нас большие — чуть ли не во всю стену — от потолка до пола, чтоб конструкторам чертить светлее было. Как выглядит из-за туч красное солнышко, бабочка заволнуется, начнет биться о стекло, за которым уж и не такой прекрасный пейзаж, а все-таки воля.

Панорама города словно вливается в наши огромные окна — порой покажется, что отдел словно бабочка парит над городским пейзажем с его серыми пятиэтажками — «хрущевками», а возле самого завода — зелено-грязными двухэтажными домами, густо обсаженными кленами да затянутые гаражным поясом.

Смотрит бабочка из окна на этот урбанистический пейзаж с беседкой, покрашенной суриком, в которой почему-то никто и никогда не сидит — ни днем, ни вечером — ни мал, ни стар. Эта беседка стоит между зелеными домиками, т. е. ничья — ни тех, ни этих. По улице Октябрьской пылят и пыхтят автомобили.

Посидит, посидит бабочка без движения, посмотрит на безжизненные одинаковые окна пятиэтажек, на телеантенны, густо ошетилившиеся на крыше, на летающих голубей, на грачей, собирающихся в стаи. Долго сидит бабочка без движения. Не умерла ли? А может задремала?

Небо все сплошь затянуто серой равнодушной облачностью. Поэтому темново и тянет в сон. Ветви кленов за окном еле-еле колышутся. Но выглянет солнышко и начнет пригревать, тут и оживет бабочка. Забеспокоится, начнет перелетать снова от окна к окну, за которым шуршит в листве ветерок, срывая пожелтевшие листочки. Уносит их стайками и поодиночке,

словно перелетают через дорогу у самых колес автомобиля яркие птички. И бабочке, видимо, хочется полететь за ними. Или, слившись оранжевыми крылышками с пожелтевшими прядями кленов, слушать негромкое позванивание золотистых листочков. Но не может преодолеть она застекленной преграды. И форточка закрыта. И люди почему-то равнодушны к ее стремлениям. Они сидят, у каждого свой стол, уткнулись в бумаги. То ли дремлют, то ли работают. Заняты очень серьезными делами. Недосуг им отвлекаться.

А бабочка летает, мечется...

Скоро уж холода наступят — на дворе октябрь. Бывает и «белые мухи» пролетают. Но она все равно рвется на волю.

Прошел день. Прошла ночь. Люди снова пришли на работу. Уселись на свои стулья, уткнулись в свои чертежи. Я тоже разложил чистые листы. Смотрю — летит ко мне бабочка и, покругившись, садится на белый чертежный лист. И легонько так то закрывает крылышки, то открывает. От их огненного жара у меня дух перехватило. Сажу, боюсь дышать. Но не смог долго выдержать, пошевелился все-таки. И бабочка улетела. Минуты через две три — смотрю — снова летит ко мне. Я замер. Она опять покругилась раздумывая: то ли ей на бумагу присесть, то ли на кончик карандаша, который держу в руке. Но что-то ее удержало от этого решения. Она, видимо, другое придумала. Села мне прямо на лоб. Я от неожиданности аж вздрогнул. И, конечно, вспугнул бабочку. Больше она не прилетела ни разу за весь рабочий день. Долго я сидел под этим впечатлением. Что это за знак такой божественный был? А может это Бог послал ее... Когда она в первый раз прилетела и села на белый лист, это было как озарение. Мир стал ярче, красочнее и светлее. «Любуйся, созерцай взволнованно и замирай перед чудом космического создания». Второй раз она хотела сесть на кончик карандаша — тут было ясно одно: «Успей запомнить и сотворить не менее прекрасную картину, чем сама жизнь». Ну, а когда бабочка примостилась прямо на лоб — в этом, видимо, самый волшебный знак. ЭТО БОГ-ТВОРЕЦ прикоснулся, благословил на добрые дела и мысли: «Обдумай и сотвори красоту земную по образу и подобию небесной!». Вот такие мысли еще долго не покидали меня. Мне остается только поблагодарить Всевышнего за его столь чуткое ко мне внимание.

— Слава тебе, Господи!

Словно проснувшись, одна чертежница-пенсионерка увидела бабочку на окне и стала ее ловить. Еле поймала. И выкинула в открытую форточку. После чего как-то брезгливо отряхнула ладони и вытерла их.

А через час на том же месте опять билась о стекло другая, а может прележняя, бабочка.

А может чья-то душа...

ПОРТРЕТ НА ФОНЕ ВЕСНЫ

Решил выбраться на волю. Сбежал от домашних повседневных дел — стирки и уборки. Уже десятый день в отпуске, а толком и весны не видел. То книжкой торговал в районо, да в гор. отделе культуры и гороно. То стирка, то уборка. Все дела, дела, дела... И не рисую, и не пишу рассказов... То простыл, то недомогаю.

Дни все больше стоят серые, без солнца. Оно едва-едва пробивается сквозь мутную весеннюю туманность. А вчера не мог утерпеть. День теплый был. Солнце прогревает. На солнечной стороне улицы, возле домов, уже полянки просохли. Ребятишки тут как тут. Уже игры с мячом устроили. До вечера в «вышибало» играют.

А ручей возле нашего дома все бежит и бежит, переливается солнечным зайчиком. У меня желание — на реку поглядеть. Пробраться по деревне можно только в резиновых сапогах. Иду, еле вытаскиваю их из жирной вязкой грязи. Даже вспотел в шапке и фуфайке. Вышел за деревню — а тут еще кругом снег лежит леденистый, крупинчатый, сырой. Наболел. Ступишь и провалишься до самой земли, а внизу вода. Еле выбрался на полянку. Страшно идти по талому снегу — а вдруг да в какую ямину угодишь — и начерпает полные сапоги воды. Но обошлось. Полянка вся в голубых лывинах. Земля видно не протаяла. На Исети лед вздулся, вспучился, стал горбатым. У берегов образовались пятна воды — забереги. У берегов уже опасно. Подтаял снег и лед.

Отбегали на работу через реку надолго — месяца на два, а то и на три. Пока с релок вода не уйдет. Только тогда можно будет на пароме переезжать.

А пока кругом снег да первые проталины. Кусты тальника ярко светятся под солнцем на фоне темно-бирюзового соснового бора. Дали истаивают в голубоватой дымке. В лицо тычется свежий западный ветерок. Он сегодня какой-то прогретый, не промозглый, а будто бархатный. Приятно обволакивает щеки, нос, губы, шею. Птиц пока никаких не видно. В крайнем огороде на тополе появилось гнездо. На самой макушке сороки свое жилище сделали. И продолжают летать за строительным материалом. Как шилья калят — туда-сюда снуют, торопятся. Почти на каждом тополе нынче в деревне по гнезду свито. Говорят, что когда птицы в деревне гнезда вьют, то это к холодной весне. И так нынче весна затягивается. Уже 10-е апреля, а кругом снег лежит. А в лесах еще долго не растает.

Смотрю, ко мне с недоверчивостью подходит телушечка молодая. Тоже с осторожностью перебирается через залежи снега, через ручьи на полянку.

С любопытством смотрит своими большими волооковыми глазами, будто пытается загипнотизировать меня. Смотрит, не мигая и осторожно приближается. Я протягиваю руку и говорю ей: «Ну, молодушка, давай знакомиться».

Она будто соглашается. Подходит ко мне. Я ласково почесываю у ней за ушами, трогаю ее молодые рожки. Она мотает головой и довольная, и в то же время, как бы не желая, чтоб до нее дотрагивались посторонние. Так мы стоим и смотрим друг другу в глаза, пока ее не позвала хозяйка — молодая женщина из крайней избы. Посмотрела на нее и было уже повернулась к дому, но увидела хозяина, грозившего ей вицей в руке. Телочка взбрыкнула на месте, мотнув несогласно головой, и помчалась по траве и по голубым лужицам. Из-под копыт полетели серебристые брызги.

Отбежав к дальнему краю поляны, телочка понюхала траву, воду в луже, подошла к ручью и стала пить студеною воду. Потом, вытянув шею, стала принюхиваться к свежему весеннему теплему ветерку, прилетевшему с дальних полей и березовых перелесков. И насладившись вольным пьянящим весенним ветром, искристыми ручьями и теплым солнышком, снова начала взлягивать и носиться по поляне. Тут-то ее и встретил хозяин. Она боком стала отбегать от него в направлении к дому, где у изгороди стояла хозяйка и звала ее. Телушка вытянула шею: «Му-у-у», и пошла было к хозяйке, но обернувшись и увидев палку, снова взбрыкнула, оттолкнувшись ногами и, задрвав хвост, промчалась мимо меня, обдав брызгами. Раза три заворачивал ее хозяин домой, но она пока не парезвилась на воле, пока не потешила свое застоявшееся в пригоне молодое тело, не шла домой. Пока хозяйка не принесла кусочек хлеба.

Телочка запринюхивалась к хлебному духу, хоть и с неохотой, но все-таки пошла на зов хозяйки. Загнали таки скотину снова в пригон. С этого момента она узнала вкус воли и хлеба...

Я еще раз покрутил головой под голубым чистым небом и ярким ослепительным солнцем, посмотрел на него не мигая, пока не потемнело в глазах, потом долго привыкал к растворившемуся в серебре миру, пока естественные краски не восстановились снова, и побрел в деревню.

Возле крайнего дома присел на лежащую у забора лодку и еще долго сидел и любовался размытыми дальними деревеньками с тополями и истаивающими снегами. Возле меня пролетела бабочка крапивница. Над головой звонко чирикал воробей, сидя на скворечнике. Копышились в золотистой соломе куры. На проводах грустно насвистывал одинокий скворчик. И если бы не помнить, что происходит теперь в нашей стране, то можно было бы без конца любоваться и восхищаться этой деревенской идиллией, сидя на завалинке под прогревающим весенним солнышком.

Но увь, действительность заставляет вернуться в сегодняшний день, с его бытовой и материальной неустроенностью, с его хаосом и неразберихой, с его тревогами, заботами и незащищенностью...

...Возвращался домой, где ждет меня изуродованная бандитом жена-инвалид, добиваемая современными чиновниками, я увидел стоящих возле телеги трех мужиков.

— Леха, иди-ко сюда, — кричит мне сосед Толик.

Подхожу. Здравуюсь со всеми за руку. Они под хмельком. Вот они русские мужики. С утра уже опохмелившиеся. Заросшие щетиной — недельной, модной теперь. С непонятным возрастом и мутным тоскливо-угрюмым и уставшим от жизни взором.

— Леха, — говорит Толик. — Нарисуй нас на фоне, — и крутит головой вокруг. То ли на фоне дома с палисадником и тополями, то ли на фоне жирной грязи с голубыми лужами. То ли на фоне серого истаяющего возле прясла снега. Но не найдя себе приличного фона, Толик сказал очень просто: «Нарисуй нас как есть — троих русских мужиков — на фоне весны! Понял, нет?».

— Ладно, нарисую, — отвечаю. Будет сделано. И став по стойке смирно, по-солдатски, прикладываю ладонь к шапке. Они улыбаются, обнажая желтые прокуренные остатки зубов и похлопывают меня по плечу: «Службу знаешь! Так держать!» Что я теперь и делаю. Выполняя данные мне поручения.

НА ОСЕННИХ УВАЛАХ

Субботний день начался солнечным. С превеликим трудом выбрался я из автобуса — всегда много с утра едет людей на барахолку. Вылез, вдохнул свежего воздуха и зашагал по проселочной дороге. С диким ревом, на пределе, оглушая, пролетели мимо мотоциклисты-анархисты. Сзади на каждом мотоцикле сидела девчонка с развевающимися на ветру волосами. Рассеялся дым, затих режущий перепонки звук, лишь виднеются вдаль разноцветными точками, все уменьшаясь, фигуры ребят и девчонок.

Снова душа успокаивается при виде покосившихся стогов соломы, что светятся на солнце яркой желтизной, выделяясь на фоне вороной свежеспяханной пашни. Дорога вьется возле поля, увлекает и зовет в трепетную, охваченную золотым пламенем, даль Увалов.

Оглянешься назад — город будто растаял в бирюзово-серой дымке. Лишь редкие пятиэтажки отмечают улицы пунктиром освещенных белых крыш да темно-зеленых шапок тополей.

Все ближе и краше становится осеннее кружево из оливковых, блекло-зеленоватых, нежно-желтых и пышно-золотистых берез. Среди них напряженно-кроваво горят кусты боярышника да амфитеатром разбежались огненно-красные осинки.

С горы зрелище еще величавее. Раскинулась такая торжественно-нарядная красота и ширь, что дух захватывает. Вот она воля и благодать... Вдоволь налюбовавшись, выбираю понравившийся мотив и раскрываю этюдник. Не заметил, забылся, увлекся, как оказался в окружении ребят и девчонок. Смотрят на мою работу и спрашивают: «Дядя, а какое это ты место рисуешь?». Я молчу. Работаю.

— Вон тот красный куст, по-моему. Не видите, что ли? — не выдержала бледнолицая девчонка с большими грустными глазами.

— Красиво, правда? — ищет она поддержки у подружек.

Остальные кривят физиономии, пожимают плечами. Парни ухмыляются.

— Эх вы, ценители! — поднялся на них парень с хитроватым прищуром глаз. — Я тоже так. Начну рисовать, соберутся вокруг и пыхтят под ухо.

— А это что тут намазано? — он чуть не ткнул пальцем в краски на холсте, успев при этом с усмешкой подмигнуть ребятам. — Я думаю, что тебе, дядя, за это двойку поставят!

Кое-кто из ребят захихикал. Почувствовав поддержку, парень еще более нахально заломался:

— Я тебе как коллега коллеге советую — брось-ка ты, дядя, эту мазню! Кому она теперь нужна? Сейчас время — деньги. Бизнесом надо заниматься. Или, как мы вот, весело время проводить, понял?

Он взял с этюдника кисточку и, обмакнув в черную краску, попытался дотронуться до этюда:

— Я тебе, дядя, сейчас поправлю малость. Ты тут неправильно рисуешь.

— Ну, ты!!! Парень!!! — вскипел я.

Гоготанье и кривлянье сытых и ухоженных парней с гладко постриженными затылками заставило меня сжаться и принять внутреннюю оборону. Думаю: «Будь, что будет, но не сдамся соплякам». Я выступил с кисточкой вперед:

— А ну, давай-ка, дуй отсюда, а то я сейчас тебе усы нарисую!

Парень отшатнулся, опешил. Он не ожидал от меня такой прыти, считая себя хозяином положения.

— Ну, всё, всё. Я пошутил.

А сам подмигивает ребятам. Но его уже не так дружно поддержали. Я

понял, что это еще школьники, хотя и довольно рослые. У кого-то проснулись, видимо, трезвые струны души, не совсем затуманенные алкоголем.

— А Вас жена не ругает за это? — беря тюбик с краской, спросила одна пухленькая девчушка.

— За что? — не понял я.

— За то, что Вы рисуете. Измажете одежду, да и деньги на краску портите. Много же надо красок! Вон Вы их как жирно мажете.

— Искусство требует жертв, — опять вмешался шустрый «коллега».

— А ну-ка, ребятки, поиграйте где-нибудь в другом месте, — едва сдерживаясь, попросил я, чувствуя, что в таком окружении мне работу не закончить.

Неторопливо, чтобы не выдать своего отступления, стал я вытирать кисти и складывать этюдник. Ребята поняли, что все интересное позади, тоже стали тянуть друг друга к своему становищу. Они, видимо, интуитивно выбрали этот же бугор, что и я, откуда открывался дивный вид на шадринские Увалы. Только увидел ли кто-то из них эту красоту?

ГАРМОНИСТ

У нас под окнами пышко цвела в тот год черемуха. Подошла и мне пора в армии служить. Проводины решили сделать под черемухой. Поставили стол, скамейки.

...В этот вечер я провожал до дому Аннушку. Остановились на мостике через лог...

Ручеечки протекали
Через мосточки малые.
Я последний раз целую
Аню в губки алые.

...На следующий день вся моя родня и знакомые пошли провожать меня до автобусной остановки. (После окончания Шадринского автомеханического техникума меня направили работать в город Комсомольск-на Амуре. Оттуда меня и в армию провожали). Я прилетел в родные края в отпуск и попрощаться перед уходом в армию. Сегодня меня провожали в солдаты. Шли по деревне большой ватагой, обнявшись. Кто с кем. Родные, друзья. Гармонь ревела... Раздирала душу на части... Аж мороз по коже. Пели всякие частушки.

Скоро, скоро нас забреют.
Скоро, скоро увезут.

По шинелочке наденут,

По винтовочке дадут.

Эх, матаня, встань поране,

Вымой лавочку с песком.

Повезут меня в солдаты,

Ты заплачешь голоском...

Эх, матаня, ты кудерек,

Я не сам тебя завлек.

Эх, ты ко мне ластилася,

Рядышком садилася...

Гармониста я любила,

Гармониста тешила,

Гармонисту на плечо

Сама гармошку вешала...

Под гармонь пели все: друзья, подружки, знакомые.

...Все это видение всплыло в моей памяти недавно, когда я услышал как заиграла гармонь в центре города. На базаре. Где теперь торгуют с лотков современные бизнесмены. Я увидел гармониста в ярко-красной клетчатой рубашке. Черные брюки заправлены в короткие резиновые сапоги. Он был чуть под хмельком. И как он лихо разворачивал малиновые меха! Залюбуешься! Короткие, отрывистые, звонкие переборы бередили душу своей откровенно-надрывной интонацией. Будто человек стоит на самом краю пропасти. Еще миг — и он сорвется... Но он идет, ничего не замечает, будто слепой. И играет на своей гармонии...

Такое состояние рождает гармонная игра и холодный озноб пробегает по спине. Гармонист играет «Улочную». Потом ее окрестили «хулиганской». Даже запрещали играть... Или называли ее еще по номеру статьи в уголовном кодексе «шестьдесят четвертая», которую за хулиганку давали.

— Давай шестьдесят четвертую! — забурев в загуле, просил тот или иной пьяный мужик. — Под котору рубахи-те рвут!

— А ну-ка, давай паздерни, друг!

И гармонист разворачивал меха на полную мощность. А гармонь, кажется, задыхалась от невысказанной боли и тоски. Ревела почти человеческим голосом...

Пьяный мужик хрипло взывал:

— У-у-у, мать твою, перемать... И скрежетал зубами. И размазывал по лицу сами собой навернувшиеся слезы... А бывало под эту игру дрались,

рвали на себе и друг на друге рубахи, под нее накатывались непрошенные, скрываемые в трезвом состоянии в глубине души слезы...

Эх, сороковочку на стол,

Забегат милиция.

Если будете стрелять.

Откроется позиция.

Я недавно из Кабанья.

Хулиган молоденький.

Засажу по рукоятку

Свой кинжальчик новенький.

Эх, где мои семнадцать лет,

Куда они девались.

В исправдоме я сидел

Наверно там остались.

Скоро я не запою,

Скоро не услышите,

Скоро здесь меня не будет

Тяжело завздышите...

... Гармонист, высокий сухопарый мужчина лет пятидесяти с гаком, шел вдоль лотков то к одной группе людей подойдет, то к другой. Развернет меха. Взревет гармошка трепетно-тревожным аккордом, как задыхается... Да только зря он старается. Нет ему понимания. Нет поддержки. Нет уважения... Все почему-то отворачиваются от него. Не хотят послушать, подпеть. Не говоря уже о том, чтобы сплясать под эту неугомонную залихватскую мелодию. Как ни старался гармонист, как надрывно не плакала его гармошка, все было без толку. Никому он был не нужен со своей русской буйнотчаянной душой...

И брел он среди праздно-шатающейся толпы молодых людей, никому не нужный...

...Нет, нашелся-таки один человек. Наконец-то встретил он родственную душу. Это был инвалид. Лицо серо-землянистое, кудрявая взлохмаченная голова. Правый пустой рукав был засунут под ремень сереньких, мятых с заплатами брюк. Увидев гармониста, он широко заулыбался, шустро подкатил в своих стоптанных башмаках. Оживленно и быстро задвигался возле гармониста в такт плясовой мелодии. Гармошка с болью вздохнула, увидев это серое, куцее, похожее на человека, привидение среди ярко разряженного люда в иностранных шмотках и, набирая темп, запричитала будто, заревела, запела русскую плясовую.

Инвалид резко заприплясывал под эту безудержную музыку, под которую ноги сами просятся в круг, захолапывал единственной левой рукой по коленку с заплатой...

— Гармонист, гармонист,

В кухне поварешка.

Не бывать тебе на моде

Кабы не гармошка.

Запел инвалид, кругами обхаживая и приплясывая вокруг гармониста. Их брезгливо обходили. Иные просто не обращали внимания, как будто этих людей для них совсем не существовало. Другие, наоборот — с какой-то даже самодовольно-сытой ухмылкой, одетые в «кожу», считали ниже своего достоинства останавливаться и слушать, обращать на них внимание. Шли с поднятым носом, гордо и демонстративно дефелировали мимо, даже не поворачивая головы. Лишь изредка, взглядом оценивая прищурились к развешенным в лотках товарам. Дамы-лоточницы, в свою очередь, презрительно ухмылялись, глядя на гармониста с пляшущим инвалидом. Кривя ярко накрашенными губами и попыхивая дорогой сигаретой. Иные были рады развлечься, поглазеть на бесплатных артистов.

Подойдя к чернявым молодым ребятам с Кавказа, группой стоящих на отшибе, гармонист вновь начал демонстрировать свои аккорды. Но и тут он не пробудил никаких эмоций. Уж на что кавказцы народ «горячий». А гармошечная игра, особенно «плясовая» мелодия даже чуть напоминает плясовые других народов. Есть что-то в ней общее у всех. Ноги так и просятся ринуться в пляс, пройтись по кругу. Ощутить себя под облаками молодым, красивым... Ощутить себя плывущим выше горных вершин, над кишлаками и русскими деревнями. Но, увы, время настало не для плясок...

Время — деньги.

Как выразился один знакомый:

— Хватит плясать. Пропели, пропили и проплясали и так Россию-матушку! «Да, прохлопали в ладоши...» — поддакиваю и добавляю ему. Теперь бизнес все затмил. Доламывает все наши традиции. Кои коммунисты не доломали...

И как ни пытались гармонист с инвалидом завлечь благопристойных спекулянтов и самодовольных мешан, так у них ничего и не вышло.

Эти двое здесь были не нужны. Они были из русского мира... А в этом новом, нарождающемся торгашеском мирке, в мире иностранных товаров, человек с гармонью и человек без руки никак не вписывались. Они не гармонировали в этом мирке и казались совершенно лишними. И не находили ни участия, ни сочувствия. Они казались изгоями...

Что-то с болью отозвалось в душе от этого ярко-цветастого современно-рационального и безучастного ко всему базара-рынка. То ли от этих неприкаянных двух русских человечков.

На этом крохотном пятачке базара правили вкусы молодого поколения, новой нарождающейся жизни... Неужто России будущего?

Неужто частушка и гармонь отслужили свое? И останутся теперь как реликвия нашего прошлого? И которое так не хочется забывать...

Эх, сколь гармошка пела важно,

Не могла развеселить.

Эх, пошла матаня замуж,

Я не мог разговорить...!

ЧЕРЕМУХОВЫЕ ХОЛОДА

Темно-синие тучи плывут низко, вернее не плывут, а ползут, наваливаясь всей своей свинцово-холодной тяжестью. И если бы не этот шальной, порывистый весенний ветер, то тучи бы, наверное, раздавили первую проклюнувшуюся, нежную зелень трав, цветов, деревьев.

Неожиданно ярко представил картину Казимира Малевича «Черный квадрат», написанную им в 1917 году. Такая безысходность в этой картине. И в то же время какая-то надменная самоуверенность. И вечность...

Какая дикая драма жизни разыгралась в России. Как он все предвидел? И предугадал?

...И пока что мы все еще находимся в этом «черном квадрате»... И еще не одному поколению придется жить в темноте... А пока многие пытаются ловить рыбку в мутной воде, особенно те, у кого власть, у кого хапающие инстинкты развиты сильнее, кто и раньше привык грести под себя. У кого ни совести, ни чести...

Ну, и Бог им судья!

И в природе что-то творится необразимое. То землетрясения, то наводнения, то смерчи...

Вот и нынешней весной поднялась такая круговерть — такой ураганный ветер да с обильным крупным снегом, что свету белого не видно стало. Ветер разрывает плотные массы облаков на ключья, растеребливает и разгоняет их по звонко-голубому небу, вселяя надежду... Что эти черные тучи не монолитны и не вечны. И такие ветры и холода наступают почему-то во время цветения черемухи. Черемуховые холода... И цвет черемухи, словно снежинки.

Еще утром было солнечно. Потом внезапно потемнело. Повалил снег и с ветром. Я бросился в огород, скорей гряды пленкой закрывать стал. Так что ветер меня чуть не унес вместе с пленкой. Разметал резвый ветер злые тучи и снова засияло весеннее солнце. Снег быстро стаял. Только ветер продолжал трепать черемуховые соцветия, раздувая их лепестки и напоминая этим о недавнем нагретом снеге. Бывает — после холодных дней резко, враз оттеплит. Придет, наконец, долгожданное тепло. Закопошится народ в огородах. Весна все-таки берет свое. Май на исходе. Может еще и будут заморозки, может и снежку подвалит...

Всякое бывает в наших зауральских краях. Но время идет.

Подходит лето красное. Июнь месяц приближается. И забываются в заботах о хлебе засушливые черемуховые холода. Но остается в памяти свет весеннего цветения и надежды на лучшее...

ТЕЧЕТ ВОДА

После жаркого летнего дня (а особенно, если проведешь его на сенокосе, под знойным палящим солнцем) так и хочется поскорей бежать на реку, заскочить в воду, охладиться, избавиться от колючей сенной трухи, смыть пыль и пот, вволю поплавать.

...Вечера стоят теплые. Солнце почти до самого захода ласково припекает. Тихо. Неподвижно сидят редкие рыбаки, надеясь на удачу.

На плотике полощет белье пожилая женщина. Рядом на берегу сидит на траве ее муж. Поджидает, попыхивает папироской и поглаживает свои незагорелые, костистые ноги со слабо-синеватой татуировкой «они устали»...

Кричат недовольные чайки, отчаявшись выловить кое-какую рыбешку.

Волна с сочным чмоканием бьется о плотик. Вокруг расходятся темно-зелёные с золотистыми бликами волны.

Муж отмахивается от надоедливых мух, нехотя поднимается, подтягивает черные «семейные» трусы, скребет пятерней голову. Докурив и отбросив папироску, он прихватывает мочалку с мылом, осторожно ступает по засохшей комками земле возле берега и, не торопясь, заходит в воду. Останавливается, смотрит куда-то вдаль. Попривыкнув к воде, бредет дальше. Снова останавливается, проводит рукой по всклоченным волосам, пробует ладонями воду. Затем плещет себе на руки, грудь, на бронзовое лицо. Потерев зудящую спину, приседает по-бабы: окунается в воду по шею. Успокаивается и начинает отмываться. Долго намыливает голову, трет мочалкой лицо, шею, туловище. Намыливает голову еще раз и, положив мочалку на

берег, с разбегу, как в детстве, вдруг бросается в воду, вытянув руки вперед. От него резко разлетаются брызги, расходятся волны. Потом волны смыкаются... И нет человека. Долго-долго его не видно. Жена беспокойно крутит головой, ищет его глазами по всей реке. А он выныривает почти на середине реки. Крутнув головой вбок, закинув волосы в сторону, проводит рукой по лицу, начинает вращаться вкруговую, осмотревшись и по привычке к новому пространству. То поплывет на боку, то на спине, то саженьками против течения.

На другом берегу дно песчаное. Там играют в «ляпки» ребята-подростки. Ныряют, кричат, шумно гоняются друг за другом, плещутся, выбегают на берег и снова падают в реку, скрываясь под водой от «галящего».

Муж тоже отдыхает тут, любит на ребятню. А может, вспомнил, как и он когда-то был таким же беззаботным и удачливым... И куда все подевалось? Куда утекло?..

ОБ АВТОРЕ

Мехонцев Алексей Андреевич родился в 1944 г. в д. Октябрь (бывший совхоз им. Буденного) Шадринского района Курганской области.

После окончания Шадринского автомеханического техникума работал инженером-конструктором в г. Комсомольске-на-Амуре, Свердловске, Шадринске. 3 года служил в ракетных войсках на Дальнем Востоке.

После окончания Нижнетагильского пединститута художественно-графического факультета преподавал 12 лет в Шадринской художественной школе. 10 лет работал дизайнером на Шадринском автоагрегатном заводе.

Участник 30 городских и областных выставок городов Кургана и Екатеринбурга. Две работы приобретены Курганским областным художественным музеем.

Параллельно с занятиями живописью, графикой и керамикой увлекается литературным творчеством. Опубликованы рассказы в Шадринском литературно-художественном альманахе «Рассвет» (1994 г.), краеведческом сборнике «Шадринск военной поры» (1995 г.) и в местной периодической печати, с 70-х годов в газетах — «Авангард», «Шадринский рабочий». В литературно-краеведческом выпуске — «Пятницы на Михайловской».

В 1994 г. вышла книга «От капели до капели» (этюды о природе), оформленная самим автором. «Все пережили» — вторая книга А. А. Мехонцева также со своими иллюстрациями.

СОДЕРЖАНИЕ

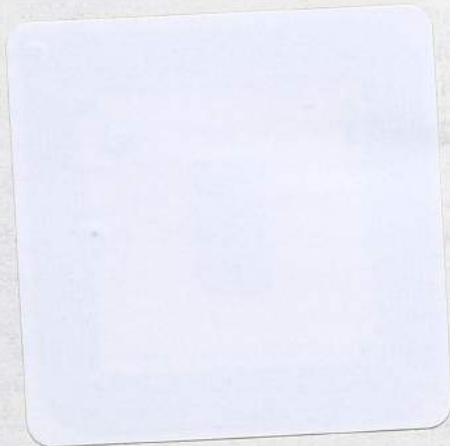
Родник, пробившийся из глубин народных	4
ВСЁ ПЕРЕЖИЛИ. (Бабушкины сказы)	5
Просватгали	6
Телеги брякают	8
Бутылка водки, да луку ведро	12
Исетская капуста	13
Ни овса, ни денег	14
Ничего не помню	14
Дрова заводам и паровозам	16
Хлеб выгребали	17
Трудные годы	17
Зыбка на березе	20
На мысу	21
Бабушкины братья. Мастеровые — Михаил и Федор	22
Баба Вера	24
Современные идеи	25
Строим совхоз им. Буденного. 1932 г.	26
Иммунитет прадедушки	30
Иждивенец	32
Работа на производстве	34
Глину возили	34
Ботинки потеряла	35
Судом стращали	35
Ни чё не чую	36
Отец пьяной	37
За мертвого замуж	37
Про деда Семёна. В трудармии	39
Про Сергея, маму и картофель	41
Юбилей	47
Дядя Толя	48
Хлеб убирали	48
Копешка сена	50
Волки	51
Мы тогда под Варшавой стояли	52

Цветы вдовам	55
Дождалась	57
ДАРЬИН ПОКОС. Повесть.	59
РАССКАЗЫ	
Морозное утро	118
Голос пропал	120
Выстрел в ночи	123
Трясучка и голоса	126
Рождение рассказа	129
У колодца	131
К источнику	133
Цвела черемуха	135
Родная сторона	138
Незнакомый старичок	140
Жестянщик	144
Как все?	148
Чья-то душа	152
Портрет на фоне весны	154
На осенних Увалах	156
Гармонист	158
Черемуховые холода	162
Течет вода	163
Об авторе	165

30p 00

89128362666

Сергей
Виноградов



Литературно-художественное издание

Мехонцев Алексей Андреевич

ВСЁ ПЕРЕЖИЛИ

Редактор и художественное
оформление — А. А. Мехонцев
Корректор Т. А. Камышева

Лицензия ЛР № 010124 от 28.10.91 г.

Сдано в набор 25.10.95. Подписано в печать 28.02.96. Формат 60x84^{1/16}. Бумага
типографская № 2. Гарнитура Таймс. Печать офсетная. Усл. печ. л. 9,76. Уч.-изд.
11,76. Тираж 1000 экз. Заказ № 2034.

Издательство Шадринского ПО "Исеть". 641800, г. Шадринск, ул. Спартака,

Отпечатано в Шадринской типографии ПО "Исеть" комитета по печати и сред-
ствам массовой информации Курганской обл., 641800, г. Шадринск, ул. Спартака.

